

СЕМЕН
ЛИПКИН



ВОЛЯ





СЕМЕН
ЛИПКИН

✎✎
ВОЛЯ

АРДИС

Copyright © 1981 by Ardis

ISBN 0-88233-674-6

**Published by Ardis
2901 Heatherway
Ann Arbor, Michigan
United States of America**

ВОЛЯ

Первая книга

ПРАЗДНИК

Что делать праздничным днем?
Кругом суетня,
Нет в городе, нет в моем
Друзей у меня.

Он хочет светлых утех:
Огромному, — пусть
Неправдоподобный, — смех
Милее, чем грусть.

Что, если правды змея
Нашепчет ему,
Что я, один только я
И нужен ему?

1936

X X X

П. М. Кролю

Кто дружбу, как стихи,
 бросал, едва начав;
Кому любовь была обузой,

А счастье — песенкой,
ведомой темной музой
Ввиду бойниц и древних глав;

Кто в город,
женщиной обманут нелюбимой,
Вернулся вдруг немолодым,
Но принял в круглые глаза ребенка дым,
Над волжской пристанью клубимый,

И зелень старых барж,
И то, что город мал,
Но как в бреду шептал: „огромный!”,
А тот, не камня плоть,
а призрак многохолмный,
Его кружил, ему внимал, —

Тому явись, о жизнь,
как сон в степи, как степь,
В ночи горящая надмирно,
А если старых мук
пред ним возникнет крепь,
Скажи: не бойся, я обширна.

1936. Горький

АПРЕЛЬ

А здесь апрель. Забылась роща в плаче.
На вербе выступил пушок цыплячий.

Опять земля являет облик свой,
Покрытый прошлогоднею листвою.

Какая тишь, какое захолустье,
Как странно выгнулось речное устье,

Пришли купаться ясени сюда,
До пояса доходит им вода.

Там, в рощице, то синим, то зеленым
Сукном одет затон, и над затоном

Топырит пальцы юная ольха.
И, словно созданная для греха,

Выходит на террасу щебетунья,
Цветущая полячка, хохотунья,

Чья бровь дугой, и ямки на щеках,
И множество браслетов на руках,

И необдуманная прелесть глаз
Уже не раз с ума сводили нас...

Бубни стихи, живи светлей и проще!
Журчит река. Недвижен воздух рощи.

Всей грудью обновленный дышит прах.
Но все это в меня вселяет страх.

Я вижу: на тепличное стекло
Цветов дыхание смрадное легло.

Мне кажется: из-за речных коряг
Невидимый вот-вот привстанет враг.

И черный грач, как будто без причины,
То тут, то там садится на вершины,

И вниз летит, и что-то мне кричит,
И вверх как бы в отчаянье летит,

Затем, что слушать здесь никто не хочет,
Когда он горе близкое пророчит.

Так иногда, увидев тайный свет,
Беспомощный, но истинный поэт

О зле грядущем нам напоминает,
Но тусклых слов никто не понимает.

А вот еще ольха. Мне в этот миг
Понятен хруст ее ветвей сухих:

Она своей седьмой весны боится!
Она слепым предчувствием томится:

Страшит ее весенних дней набег,
Ей милым стал больной, унылый снег,

И дерева младенческое горе
Моей душой овладевает вскоре.

И даже та, чьи ямки на щеках,
И множество браслетов на руках,

И необдуманная прелесть глаз
Уже не раз с ума сводили нас,

Та, что сейчас своей красой летучей
Нас обожгла, — она больна падучей,

И знаю: ночью будет нас пугать
Улыбкой неестественной.

1937. Марьино Горка

ОТКРЫТКА

Я получил открытку, на которой
Художник темный написал случайно
Чудесный дом, и мне за каждой шторой
Какая-то мерцала тайна.

Извозчики, каких уж нет на свете,
Кареты выстроили — цуг за цугом,
А сами собрались в одной карете,
Видать, смеялись друг над другом.

И мне представилась тогда за домом
Вся улица, все улицы, весь город.
Он показался мне таким знакомым, —
Не в нем ли знал я жар и холод?

О царь всевидящий — незрячий случай!
Понятно мне: в том городе и ныне
Я проживаю, но другой, но лучший,
Но слепо верящий в святыни.

В том городе моя душа прекрасна,
Не менее души прекрасно тело,
Они живут между собой согласно,
И между ними нет раздела.

И если здесь несбыточны и хрупки
Беспомощного разума создания, —
Они там превращаются в поступки,
Мои сокрытые мечтанья.

Там знают лишь один удел завидный —
Пьянящей жертвенности пить напиток.
Там ни к чему умельца дар постыдный.
И мне туда не шлют открыток.

1937. Чолпон-Ата

СЧАСТЬЕ

Хорошо мне торчать в номерах бобылем,
По казачьим станицам бродить,
Называть молодое вино чихирем,
Равнодушно торговок бранить.

Ах, у скряги земли столько спрятано мест,
Но к сокровищам ключ я нашел.
Это просто совсем: если жить надоест, —
Взял под мышку портфель — и пошел.

Из аула в аул я шатаюсь, но так
Забывают дорогу назад.
Там арабскими кличками кличут собак,
Над могилами жерди стоят.

Это знак, что великий смельчак погребен,
Мне ж, по правде сказать, наплевать,
Лишь бы воздух был чист и глубок небосклон
И вокруг ни души не видать.

Вот уже за спиною мечеть и погост,
И долина блестит вдалеке.
Полумесяцем там перекинулся мост,
В безымянной колеблясь реке.

Очевидно, река здесь недавно бежит,
Изменила недавно русло.
Там, где раньше бежала, там щебень лежит,
И камни чисты, как стекло.

Долго странствовать буду. Когда же назад
Я вернусь, не увижу реки:
Только россыпи щебня на солнце блестят,
Только иверни да кругляки!

Оскверню ли я землю хулой иль хвалой?
Постою, погляжу и пойду.
За скалой многоуглой, за каменной мглой
Безымянной рекой пропаду.

1938. Гудермес

ОДНА ЖИЗНЬ

Быть пионером, лагерей не зная,
Затем, что сумма в двести шесть рублей —
Немалая, хотя и не большая.
Пройдут года — снова у кораблей,

Куски бостона выгодно скупая,
Выискивать местечко потеплей,
Как вдруг — пора призыва золотая.
И вот уже вдоль скошенных полей

Поют о том, что сыты наши кони.
Пол душных месяца трястись в вагоне,
Приехать в часть на роковой черте, —

Попробуй отвертеться в нашем войске! —
И влажным утром умереть геройски
На желтой заозерной высоте.

1938

х х х

В неверии, неволе, нелюбви,
В беседах о войне, дороговизне,
Как сладко лгать себе, что дни твои —
Еще не жизнь, а ожиданье жизни.

Кто скажет, как наступит новый день?
По-человечьи запоем ли птица,
Иль молнией расколота тень
Раздастся и грозой разразится?

Но той грозы жестоким голосам
Ты весело, всем сердцем отзовешься,
Ушам не веря и не зная сам,
Чему ты рад и почему смеешься.

1940

ПЕРЕД МАЕМ

Был царствия войны тяжелый год.
В тот год весна к нам дважды приходила,
А в третий раз она пришла в обход,

Затем, что всюду стражу находила
Безжалостной зимы. Был долг путь
И, поднимаясь медленно, светила
Дрожали в сером небе, точно ртуть.
Тельца и близнецов мерцали знаки,
Но в свете дня была густая муть,

Как бы в глазах взбесившейся собаки.
Три раза реки прятались во льду.
Три раза полдни прятались во мраке.

1941

В ЭКИПАЖЕ

Ветерок обдувает листву,
Зеленеет, робея, трава.
Мирно спят поросята в хлеву.
Парни рубят и колят дрова.
Над хозяйством большим экипажа
Рвется дождика тонкая пряжа.

Словно блудные дети земли,
У причалов стоят корабли.
Тихо. Изредка склянки пробьют,
Огородницы песню спокют.
К сердцу берег прижал молчаливо
Потемневшую воду залива.

Край полуночный робко цветет,
Да и где ему смелости взять!
Только речь о себе заведет,
И не смеет себя досказать.
Вот и песня замолкла сквозь слезы.
Низко-низко гудят бомбовозы.

Женский голос, красивый, грудной,
В тишине продолжает скорбеть.
Кто сказал, будто птице одной
Суждено так бессмысленно петь,
Так бессмысленно, так заунывно,
Так таинственно, так безотзывно.

август 1941. Кронштадт

РЕВОЛЮЦИЯ

У самого моря она родилась.
Ей волны о будущем пели.
Как в сказке росла, то грозя, то смеясь,
В гранитной своей колыбели.

А выросла — стала загадкой живой.
Сжимая мятежное древко,
Сегодня — святая и кличет на бой,
А завтра — гулящая девка.

Цвела, как весна, колдовская краса.
Казнила, гнала, продавала.
Но вот заглянула колдунья в глаза —
И ненависть к ней миновала.

Морщинами годы легли на челе,
И стоят иные столетий.
И мы расплодились на бедной земле,
Ее незаконные дети.

И пусть мы не смеем ее понимать, —
Ее осуждать мы не можем.
За грешную нашу беспутную мать
Мы головы с радостью сложим.

август 1941. Кронштадт

В ТРИДЦАТЬ ЛЕТ

Чтобы в радости прожить,
Надобно немного:
Смело в юности грешить,
Твердо веря в Бога,

Встретить зрелые года,
Милой обладая,
В эмпиреи иногда
Гордо улетаю,

К старости прийти своей
С крепкими зубами,
Гладить внуков и детей
Властными руками.

Что мне преданность бойца,
Доблесть полководца!
К вам, смиренные сердца,
Мысль моя несется.

Пуле дать себя скосить, —
В этом нет геройства.
Вот геройство: погасить
Пламя беспокойства,

Затоптать свои следы
И свое деянье,
Потерять своей звезды
Раннее сиянье,

Но в потемках помнить свет
Той звезды забвенной, —
О, трудней геройства нет,
Нет во всей вселенной!

Так я понял в тридцать лет,
В дни грозы военной.

сентябрь 1941. Кронштадт

ИЗ ВОСТОЧНОЙ РУКОПИСИ

Был я тем, кто жил в долине роз,
В глинобитном домике простом.
Видел я: рассыпал перлы слез
Соловей над розовым кустом.

Так я начал петь. Я находил
Торные пути к людским сердцам,
В башни звездочетов я входил,
И в книгохранилище, и в храм.

Говорил я то, что нужно всем:
Славил обольстительную страсть,
Открывал невольникам эдем
И клеймил неправедную власть.

Утверждал, что нет небесных чар
В четверице изначальных сил,
Что, смеясь, вселенную гончар
Из непрочной глины сотворил.

И хотя по-прежнему закон
Лживым был, и был бессильным раб,
Был я редким счастьем награжден,
Что мой голос нежен и не слаб.

Помню вечер. Терпкое тепло
Оседало. Дольний мир погас.
И до слуха моего дошло:
Некий царь идет войной на нас.

Облик ветра на его стреле.
Брызжет смертью сабли рукоять.
Мало знаков чисел на земле,
Чтоб его дружины сосчитать.

Помню битву горожан с ордой.
Щебнем стали храмы, ливнем — кровь.
Стала дочь моя совсем седой,
Мать моя ребенком стала вновь.

И вошел в мой город властелин,
И рассек мой город лезвием,
И разбился глиняный кувшин
В глинобитном домике моем.

И потомки тех, кто пал в борьбе,
Превратились в диких пастухов,
И поет кочевник на арбе
Странные куски моих стихов.

Непонятны древние слова,
Что курганы в поле вековом,
Но в сознание теплится едва
Память о величии былом.

Вот он возвращается домой.
Рядом с буйволом бредет жена.
От земли отделена каймой
Близкая, степная вышина.

Запрокинув голову, поет,
Полусонно смотрит в синеву,
И не знает сам, что создает
Смутный мир, в котором я живу.

ноябрь 1941. Ленинград

НА СВЕЖЕМ КОРЧЕВЬЕ

Равнодушие к печатным страницам
И вражда к рупорам.
Сколько дней маршируем по бабьим станицам!
Жадный смех по ночам и тоска по утрам.

День проходит за днем, как в тумане.
Немец в небе гудит.
Так до самой Тамани, до самой Тамани,
А земля, как назло, неустанно родит.

Я впервые почувствовал муку
Краснозвездных крестьян.
Близко-близко хлеба, протяни только руку,
Но колосья бесплотны как сон, как дурман.

Веет зной в запыленные лики,
Костенеет язык.
Не томится один лишь пастух полудикий,
В шароварах цветных узкоглазый калмык.

Дремлет в роще, на свежем корчевье.
Мысли? Мысли мертвы.
Что чужбина ему? Ведь земля — для кочевья,
Всюду родина, было б немного травы.

июль 1942. Ажинов

ПРИМЕТЫ

На заре предо мной
На дороге степной
Странный камень возник:
Одинокий старик,

Он похож на судьбу,
Он с очками на лбу.

Хорошая ль это примета
В такое ужасное лето?

Камень желт и щербат.
Я кладу автомат.
Мотылек голубой
На крючок спусковой
Посмотрел, прилетел
И назад улетел.

Хорошая ль это примета
В такое ужасное лето?

август 1942. Сальск

БЕЖЕНЕЦ

Покрытый пылью бронзовый кумир
Сидит, за край телеги свесив ноги.
Трясется на соломе скарб убогий.
Гляди, казак, гляди на божий мир.

Вдруг — на коне — вспотевший командир.
— Не знаешь, батя, в Армавир дороги?
— Езжай туды: погибнешь на пороге.
— А что? — Да немцы взяли Армавир!

Усы дрожат, осыпанные пылью.
Как жить его тоске, его бессилью
Среди подвод, катюш, комбайнов, арб?

Но шепчет он: — Бегут, бегут Советы!
Но спрятал он германские ракеты,
На них солома, на соломе скарб.

август 1942. Моздок

СТРАННИКИ

Горе нам, так жили мы в неволе!

С рыбой мы сравнились по здоровью,
С дохлой рыбой в обмелевшем Ниле.
Кровью мы рыдали, черной кровью,
Черной кровью воду отравили.

Горе нам, так жили мы в Египте!

Из воды, отравленной слезами,
Появился, названный Мойсеем,
Человек с железными глазами.
Был он львом, и голубем, и змеем.

Вот в пустыне мы блуждаем сорок
Лет. И вот небесный свод задымлен
Сорок лет. Но даже тот, кто зорек,
Не глядит на землю филистимлян.

Ибо идучи путем пустынным,
Научились мы другим желаньям,
Львиным рыкам, шепотам змеиным,
Голубиным жарким воркованьям.

Научились вольности беспечной,
Дикому теплу верблюжьей шеи...
Но уже встанут во тьме конечной

Будущие башни Иудеи.

Горе нам, не будет больше странствий!

август 1942

БЕСЕДА

— Сладок был ее голос и нежен был смех.
Не она ли была мой губительный грех?

— Эта нежная сладость ей Мною дана,
Не она твой губительный грех, не она.

— Я желанием призрачной славы пылал,
И не в том ли мой грех, что я славы желал?

— Сам в тебе Я желание славы зажег,
Этим пламенем чистым пылает пороқ.

— Я всегда золотой суетой дорожил,
И не в том ли мой грех,
что в довольстве я жил?

— Ты всегда золотую любил суету,
Не ее твоим страшным грехом я сочту.

— Я словами играл и творил я слова,
И не в том ли повинна моя голова?

— Не слова ты творил, а себя ты творил,
Это Я каждым словом твоим говорил.

— Я и верил в Тебя, и не верил в Тебя,
И не в том ли я грешен, свой дух погубя?

— Уходя от Меня, ты ко Мне приходил,
И теряя Меня, ты Меня находил.

— Был я чашей грехов,
и не вспомнить мне всех.
В чем же страшный мой грех,
мой губительный грех?

— Видел ты, как сияньем прикинулся мрак,
Но во тьме различал ты божественный знак.

Видел ты, как прикинулся правдой обман, —
Почему же проник в твою душу дурман?

Пусть войной не пошел ты на черное зло, —
Почему же в твой разум оно заползло?

Пусть лукавил ты с миром,
лукавил с толпой, —
Говори, почему ты лукавишь с собой?

Почему же всей правды, скажи, почему,
Ты не выскажешь даже себе самому?

Не откроешь себе то, что скрыл ото всех?
Вот он, страшный твой грех,
твой губительный грех!

— Но когда же, о Боже, его искуплю?
— В час, когда Я с тобою в беседу вступлю.

сентябрь 1942. Саратов

ПРУД

Вливался пруд в полуовал
Широких лип, в узор старинный,
И ветер шумно колебал
Багряномедные вершины.

Под ними в бархатной воде
Дрожало огненное чудо,
И было так легко звезде
Смотреть на мир из влаги пруда.

Вдруг прибежит к звезде сестра
Из госпиталя полевого.
Все — в первый раз, и все — ей ново:
Война и эти вечера...

1942. Ахтуба

ПРАВЫЙ БЕРЕГ

1

Отправились на глиссере,
Чтобы поспеть к заре.
Морозно было в ноябре.
Деревья в белом бисере
И берег в серебре.

Луч появился шарящий.
Скорей бы в свой блиндаж!
А мысль у всех одна и та ж:
Как наши там товарищи,
Энле обжитый наш?

Относят к немцу торосы.
Проклятый винт шумит.
И мины, и порой термит,
И огненные полосы,
И в небе гул дрожит.

Чтоб не гадать о гибели,
Пошутить, рад не рад,
И засмеешься невпопад.
А все ж на место прибыли:
В горящий Сталинград.

2

Правый берег. Вот он перед нами.
Посмотри внимательней и пристальней.
Эти груды были кораблями.
Этот лес носил окраску пристани.

Странные, горящие туманы.
Здания стали деревом, а дерево
Превратилось в хаос первозданный.
Правый берег. Не узнать теперь его.

Пахнет мертвой рыбой, гарью, дымом.
Смерть. Но можно жить. А посчастливится —
И остаться можно невредимым:
Так война решила, прозорливица.

Моряки подходят к Сталинграду.
Те, которых мы зовем: трамвайщики.
Нет, не к берегу, — к огню и чаду
Наскоро пришвартовались тральщики!

— Кончились билеты! — шутит кто-то.
Поливаемая автоматами,
С корабля на бой пошла пехота

Мостовыми, пламенем объатыми.

На спардеке — старшина, сигнальщик.
Он не сводит с неба глаза карего.
Взяли раненых. Отчалил тральщик,
Словно искру отнесло от зарева.

ноябрь 1942. Сталинград

В БИНОКЛЕ

Это немец в бинокле возник.
Приближался к реке.
Позади шла старуха,
неся полотенце, ведро и мыло.
Офицер. Туфли на босу ногу.
Одет налегке, —
Словно мирное время здесь было.

Снял рубашку и френч.
Не жалела старуха воды.
Он подставил ей голову,
крикнул ей что-то, быть может: — Живее! —
И пропал: опустился бинокль.
И тогда за труды
Взялся наш командир. Но правее...

Если можно сказать,
что похожа земля на ладонь,
То видны были танки немецкие,
как на ладони песчаной.
Дальномерщик сказал:
— Меньше два, право десять. Огонь! —
И огонь корабельный, нежданный

Налетел, в деревьях загудел,
заблестел синевой.
Разом выросли взрывы,
подобные розам планеты погибшей.
Танки мухами нам показались
в тиши неживой, —
Черной стаей, к бумаге прилипшей.

— А, видал? Тридцать штук раздавил! —
Прохрипел командир. —
Погляди: вон старуха с ведром,
рядом с нею лежит офицерик, —
Он мне душу обжег! — ...
Кроткий, солнечный, огненный мир
Обнял Волгу, и редкую рощу, и берег.

октябрь 1942. Сталинград

х х х

Что самое страшное на войне?
Страшна духота ночная,
Когда в землянке, над ухом, в стене
Скребется мышь лесная.

Что самое страшное на войне?
Страшны зверьки-кровососы
И эти на шее и на спине
Горящие расчески.

Что самое страшное на войне?
Начальник — болван и сука.
Сердитый — он противен вдвойне,
А добрый... Какая мука!

Бывает и светлое на войне:
Письмо от жены или мамы,
Вечерний снег, полнеба в огне
И грозный звук... Тот самый.

декабрь 1942. Сталинград

МЕЧТАНИЯ

Сломлен службой фронтовою,
Принимаюсь я мечтать.
Все, что связано с Москвою,
Любо мне воображать.

Там с курятником посольство
Зажигает рядом свет,
Там несытое довольство
Полуголода сосед.

Там губам от снега сладко,
Ветер дует в рукава,
Там на саночках солдатка
Тащит мокрые дрова.

Там в окне видны два друга,
Разделенные столом:
Тот, который прибыл с юга,
Замахнется костылем.

Там торопится кутила
На метро попасть быстреей,
Там блюдут гвардейцы тыла
Наших жен и матерей...

Мир таких мечтаний гадок,
Но порой от них светло.
Есть, по крайности, порядок:
Свет и тьма, добро и зло.

декабрь 1942. Сталинград

МЕТАМОРФОЗЫ

Прошел спокойно день вчерашний...
Наступит некое число:
Там, где железо рылось в пашне,
Там воду загребет весло.

Забьется рыба в листьях дуба.
Коснутся гребни волн звезды.
Безвинного и душегуба
Сравнивает равенство воды.

К недостижимой вершине
Ладья причалит в тишине.
Тогда в единственном мужчине,
Тогда в единственной жене

Проснутся голоса Приказа.
Отступит море. Встанет брег.
Начало нового рассказа.
Дни первых тягот, первых нег.

Посмотрят оба удивленно
На воды, свод небес, и вот
Для Пирры и Девкалиона
Пережитое оживет.

Что было страшным, близким, кровным
Окажется всего бледней.
Очарованьем баснословным
Существенность недавних дней

Предстанет в речи задушевной.
Как мало нужно для того,
Чтоб день растленный, тлен вседневный
Одушевило волшебство!

Где радостью засветит горе,
Где храмом вознесется пыль,
И как цвета меняет море,
Меняться будет наша быть,

Но вслушайся в их жаркий лепет:
Он правды полн, он правды полн!
Той правды вещий, яркий трепет,
Как трепет света в гребнях волн.

И минет время. Прибылая
Вода столетий упадет.
В своих руинах жизнь былая
На свежих отмелях взойдет.

Найдет в развалинах историк
Обрывки допотопных книг,
И станет беден, станет горек
Воспоминания язык.

Заметы мудрости тогдашней,
Предметы утвари домашней,
Обломки надмогильных фраз
О нас расскажут без прикрас.

С самым собою лицемерный,
Проклявший рай, забывший ад,
Наш век безверный, суеверный,
Наш век — вертеп и вертоград —

Своим позором ежедневным
Твой разум ранит тяжело.
И ты, смотрящий взором гневным
На окружающее зло,

Ты нашу боль всем сердцем примешь,
Ты нашу боль переживешь.
Ты мнимо-правый меч поднимаешь.
Отступит правда. Встанет ложь.

1943

СТАНСЫ

С повадкой жалкого монгольского холопа,
С повадкой жадного монгольского князька,
Когда он щурится, похожий на циклопа
В тупом предвиденьи хорошего куска,

Вольноотпущенник трусливый и бездушный,
Сегодня он готов тебя зажать в горсти,
А завтра — прежний раб, и наглый, и послушный, —
Таков начальник твой. Прости его, прости!

В успешных поисках семян для огорода
Прошел воскресный день. Потом, достав билет,
У театрального он появился входа,
Счастливой хромотой отмечен с детских лет.
Он алчно ест и пьет, он алчно смотрит пьесу,
Все впрок идет ему, он шире стал в кости.

Не нужен никому, ни ангелу, ни бесу, —
Таков товарищ мой. И этого прости.

Ты, голову склонив на брюхо кобылицы,
Лежал завшивевший, разбитый. А жена
Была в гостинице, и смутный гул столицы
Все снизу набегал, как сильная волна.
Неглупо о войне рассказывал полковник,
Ругал он даже тех, которые в чести,
И гладил волосы, как брат, а не любовник...
Она жена твоя, и ты ее прости.

А город запылен весенними цветами,
Как будто мукомол их в порошок растер.
Проходят юноши и девушки четами,
И мелет мельница веселый вечный вздор.
Цветы ослепшего, бессолнечного сада, —
Их все-таки томит желание цвести.
Не радость, не угар, не горе, а надсада.
Им восемнадцать лет. Но их ты не прости.

1943

ИМЕНА

Жестокого неба достигли сады,
И звезды горели в листве, как плоды.

Баюкая Еву, дивился Адам
Земным, незнакомым, невзрачным садам.

Когда же на небе плоды отцвели
И Ева увидела утро земли,

Узнал он, что заспаны щеки ее,
Что морщится лоб невысокий ее,

Улыбка вины умягчила уста,
Коса золотая не очень густа,

Не так уже круглая шея нежна,
И мужу милей показалась жена.

А мальчики тоже проснулись в тени.
Родительский рост перегнали они.

Проснулись, умылись водой ключевой,
Той горней и дольней водой кочевой,

Смеясь, восхищались, что влага свежа,
Умчались, друг друга за плечи держа.

Адам растянулся в душистой траве.
Творилась работа в его голове.

А Ева у ивы над быстрым ключом
Стояла, мечтая бог знает о чем.

Работа была для Адама трудна:
Явлениям и тварям давал имена.

Сквозь темные листья просеялся день.
Подумал Адам и сказал: — Это тень.

Услышал он леса воинственный гнев.
Подумал Адам и сказал: — Это лев.

Не глядя, глядела жена в небосклон.
Подумал Адам и сказал: — Это сон.

Стал звучным и трепетным голос ветвей.
Подумал Адам и сказал: — Соловей.

Незримой стопой придавилась вода, —
И ветер был назван впервые тогда.

А братьев дорога все дальше вела.
Вот место, где буря недавно была.

Расколотый камень пред ними возник,
Под камнем томился безгласный тростник.

Но скважину Авель продул в тростнике,
И тот на печальном запел языке,

А Каин из камня топор смастерил,
О камень его лезвие заострил.

Мы братьев покинем, к Адаму пойдем.
Он занят все тем же тяжелым трудом.

„Зачем это нужно, — вздыхает жена, —
Явлениям и тварям давать имена?

Мне страшно, когда именуют предмет!”
Адам ничего не промолвил в ответ:

Он важно за солнечным шаром следил.
А шар за вершины деревьев заходил,

Краснея, как кровь, пламенея, как жар,
Как будто вобрал в себя солнечный шар

Все красное мира, всю ярость земли, —
И скрылся. И медленно зрея вдали,

Всеобщая ночь приближалась к садам.
— Вот смерть, — не сказал, а подумал Адам.

И только подумал, едва произнес,
Над Авелем Каин топор свой занес.

1943 Сталинград

РУИНЫ

Как тайны бытия счастливая разгадка,
Руины города печальные стоят.
Ковыльные листы в парадных шелестят,
Оттуда холодом и трупом пахнет сладко.

Над изваянием святого беспорядка
Застыл неведомым сиянием закат.
Но вот из-за угла, где рос когда-то сад,
Выходит человек. В руках его тетрадка.

Не видно жизни здесь.

Как вечность, длится миг.
Куда же он спешит? Откуда он явился?
Не так ли, думаю, наш праотец возник?

Не ходом естества, не чарой волшебства, —
Внезапно вспыхнувшим понятием Божества
От плоти хаоса без боли отделился.

1943. Сталинград

ПАВЛИНКА

Рассвет разгорячается в поселке.
Одноэтажных домиков порядки —
В осеннем, светлом, паутинном шелке.
Подобно ранней хлопотливой пчелке,
Павлинка быстро обегает грядки.

Все разворовано! А помидоры
Стащила, верно, старая гадалка.
Она сулила мир — веселый, скорый,
С красивым, милым мужем разговоры...
Не помидор — цыганской правды жалко.

1943. Сарепта

ВЕЧЕР

О вечер волжских посадков,
О горний берег и дольний,
Мучных и картофельных складов
Ослепшие колокольни!

Языческий хмель заплачек,
Субботные пыльные пляски,
Худых, высоких рыбачек
Бесстыжие, грустные ласки.

Плавучие цехи завода,
Далекая ругань, а рядом —
Вот эти огни парохода,
Подобные чистым Плеядам.

1943. Енотаевск

ВОЛЯ

Кони, золотисто-рыжие, одномастные кони,
Никогда я не думал,
 что столько на свете коней!
Племя мирных коров, кочевая бычья держава
Шириною в сутки езды,
 длиною в сутки езды.

Овцы, курдючные, жирные овцы, овцы-цыгейки,
Множество с глазами разумного горя
 глупых овец.

Впрямь они глупые!
 Услышат в нашей бричке шуршанье,
Думают — это ведро, думают — это вода,
Окровавленными мордочками тычутся в бричку.
Ярость робких животных — это ужасней всего.

Пятый день мы бежим от врага
 безводною степью
Мимо жалобных ржаний умирающих жеребят,
Мимо еще неумелых бляний ягнято-сироток,
Мимо давно недоенных, мимо безумных коров.
Иногда с арбы сердобольная спрыгнет казачка,
Воспаленное вымя тронет шершавой рукой,
И молоко прольется на соленую серую глину,
Долго не впитываясь...

Пересохли губы мои, немывтое тело ноет.
Правда, враг позади.
 Но, может быть, враг впереди?
Я потерял свою часть.

 Но что за беда? Я счастлив
Этим единственным счастьем,
 возможным на нашей земле —
Волей, ленивой волей;
 разумием равнодушным

И беспредельным отчаяньем...

Никогда я не знал,
что может, как море, шуметь ковыль,
Никогда я не знал,
что на небе, как на буддийской иконе,
Солнечный круг и лунный круг
одновременно горят.

Никогда я не знал,
что прекрасно быть себялюбцем:
Брата, и сестру, и жену, и детей,
и мать позабыть.

Никогда я не знал,
что прекрасно могущество степи:
Только одна белена, только одна лебеда,
Ни языка, ни отчества...

Может быть, в хутор Крапивин
приеду я ввечеру.
Хорошо, если немцев там нет.
А будут, — черт с ними!
Там проживает моя знакомая, Таля-казачка.
Воду согреет.
Вздыхая, мужнино выдаст белье.
Утром проснется раньше меня.
Вздыхая, посмотрит

И, нагладевшись,
пойдет к деревянному круглому дому.
Алые губы, вздрагивающие алые губы,
Алые губы, не раз мои целовавшие руки,
Алые губы,
благодарно шептавшие мне: „желанный”,
Будут иное шептать станичному атаману
И назовут мое жидовское отчество...
А! Не все ли равно мне —
днем раньше погибнуть, днем позже.

Даже порой мне кажется:
жизнь я прожил давно,
А теперь только воля осталась,
ленивая воля.

ноябрь 1943. Буксир „Товарищ”

ДВА ЗЕРКАЛА

1

Лицо так странно молодеет в пудре,
Усы, в щипцах, скрутились так отважно,
Над низким лбом, седея, вьются кудри,
Глаза темнеют выпукло и влажно.

Украшен голой нимфой набалдашник,
А галстук — слишком крупным бриллиантом.
О неужели, мертвых однокашник,
Ты начал франтом и закончишь франтом?

О неужели острая тревога
В холодном утре, в снежной вьюге тыла,
Хотя б на краткий миг, хотя б немного
В твоей душе бесплодной не заныла?

О неужели муки эшелона
Страх за себя и горечь ожидания
Не занесли в твое сухое лоно
Хотя б зерно прекрасного страдания?

А рядом, в кресле,
 мальчик, тонкий, жалкий,
Он только с поезда, он с поля битвы.
Он чемодан оставил в раздевалке.
Он задремал под мягкий шелест бритвы.

И не узнал он в той, что держит бритву,
Недавних, мирных, детских лет подругу,
Свое мечтание, свою молитву,
Свою тоску и, может быть, супругу.

И не ее ли молит он присниться,
Но не такую — с длинною косою?
А у нее волнуются ресницы
И краска не смывается слезою.

1944

НА ПЛОТУ

Хочу понять бродяжью
Веселую мечту,
Варить уху стерляжью
В избушке на плоту,

Окинуть взором важным,
Что встречу на пути,
Ленясь по бревнам влажным
К буксиру подойти.

С женою жить в законе,
А бросит — наплевать.
В неведомом затоне

Запоем зимовать.

А летом и весною —
Вода и небеса.
Опять плывут со мною
Прибрежные леса.

Их призрачному раю
Я издали дивлюсь,
Люблю, но презираю,
И вовсе не молюсь.

Как будто мир чудесный,
Открытый мне, я чту,
А мне-то лишь известны
Избушки на плоту.

1943. Черный Яр

ЧЕРНЫЙ РЫНОК

Войдем в поселок
Черный рынок.
Угрюм и колок
Блеск песчинок.
Лег синий полотно
На суглинок.

Войдем в поселок
Тот рыбачий,
И сух, и долог
День горячий.
Слова — как щелок,
Не иначе!

Бегут в ухабы
Жерди, клетки.
Разбиты, слабы,
Сохнут сети.
Худые бабы.
Злые дети.

Не вынес Каспий
Этой доли.
Отпрянул Каспий
К дикой воле.
Вдыхает Каспий
Запах соли.

Воскликнем, вторя
Пьяным трелям:
— О холод моря
По неделям,
О битва горя
С горьким хмелем!

О патефоны
Без пластинок,
О день твой сонный
Без новинок,
Изнеможенный
Черный Рынок!

Пришел сюда я
Поневоле,
Еще не зная
Крупной соли
Сухого края,
Чуждой боли.

Не вынес Каспий
Этой доли.

Седает Каспий
В диком поле.
Вдыхает Каспий
Запах воли.

июль 1944.

СОЛОВЬИ

Поговорим о бродягах
С горькой мечтой о корчме.
Птицы в мужицких сермягах
Свищут в зеленой тюрьме.

До смерти им надоели
Баловни глупой судьбы —
Эти сановные ели,
Эти тупые дубы.

Осточертела до боли
Листьев могучая цепь.
Хочется в чистое поле,
Хочется в нищую степь.

Хочется жизни — голодной,
Но хоть на несколько дней,
Хоть на минуту — свободной,
Хоть на мгновенье — своей.

В диком, огнистом тумане
Песню беспечную спеть
И в разноцветном жупане
В марево смерти влететь.

август 1944.

ДОГОВОР

Если в воздухе пахло землею
Или рвался снаряд в вышине,
Договор между Богом и мною
Открывался мне в дымном огне.

И я шел нескончаемым адом,
Телом раб, но душой господин,
И хотя были тысячи рядом,
Я всегда оставался один.

1946

ПРАВО НА ГОРЕ

Вторая книга

Стихотворения 1944-60 годов

*Даже право на несчастье
за собой не смеет признать...*

Достоевский

ЗНАКОМЫЕ МЕСТА

Эти горные краски заката
Над белой повязкой.
Этот маленький город, зажатый
В подковке кавказской.

Этот княжеский парк, освещенный
До самых нагорий.
Уцелевшие чудом колонны
В садах санаторий.

Этот облик, спокойный и жуткий,
Разрушенных зданий.
Этот смех, эти грубые шутки
Вечерних гуляний.

Листьев липы на плитах обкома
Подвижные пятна, —
Как все это понятно, знакомо
И невероятно.

Те же горные краски заката
Сверкали когда-то.

Падал, двигаясь, ответ пожара
На площадь базара.

Вот ракета взвилась и упала
В районе вокзала.
Низкой пыли волна пробежала,
Арба провизжала.

И по улицам этим, прижатым
К кизиловым скатам,
Шел я шагом не то виноватым,
Не то вороватым.

Но в душе никого не боялся,
Над смертью смеялся,
И в душе моей был в те мгновенья
Восторг вдохновенья,

И такое предчувствие счастья,
Свобода такая,
Что душа разрывалась на части,
Ликуя, сгорая...

1948

КВАРТИРА

Всего в квартире пять окон,
Одно выходит на балкон.

Юнец-ремесленник, грустя,
Терзает балалайку.
— Я не хочу, — кричит дитя, —
Колючую фуфайку!
Прими их, муза моя, прими,

Будь за хозяйку.

Всего в квартире пять окон,
Одно выходит на балкон.

Сосед за стенкой зол, как черт,
В тоске постель измята:
Живым вернулся Раппопорт
И все раппопортята!

Прими его, муза моя, прими,
Как брата.

Всего в квартире пять окон,
Одно выходит на балкон.

У Раппопортов прежний гам
И ругань в прежнем стиле,
И прежним молятся богам
Лукавство и бессилье.
Прими их, муза моя, прими,
Они ведь просили.

Всего в квартире пять окон,
Одно выходит на балкон.

В четвертом — смех и патефон.
Чьи тайны там таятся?
Оно выходит на балкон
И все его боятся.
Прими его, муза моя, прими,
Не надо бояться.

В последней комнате темно,
Там негде повернуться,
Там смотрит женщина в окно
И хочет улыбнуться.

Не мучайся, муза, не мучай других,
Попробуй улыбнуться.

1944

х х х

Ты хочешь кров уединенный
Воздвигнуть в счастье и тепле,
А я хочу твои законы
Всей проповедовать земле.

Ты хочешь ласками делиться
До светлой полосы в окне,
А я хочу тебе молиться,
Горя в невидимом огне.

Ты хочешь ясной благодати,
В мой тихий мрак внести свечу,
А я хочу твоих проклятий,
Твоей гибели хочу.

1945

ТОЧИЛЬНЫЙ КАМЕНЬ

Захотел повидать Дармограй
Божий мир, беспредельный, обильный,
И в далекий отправившись край,
Взял с собою он камень точильный.

Думал: если достаток нажить
Не удастся мне в том Туркестане,

Буду пахарям косы точить,
Голодать не дадут мне крестьяне.

Шел он пешим, лежал на возу,
Что-то пел он о царстве заморском,
Под Самарой встречал он грозу
И закат провожал он за Орском.

Он услышал, придя на Тянь-Шань,
Рев скота на пути к Семиречью,
И старинную русскую брань,
Обновленную чуждою речью.

Поглядел Дармограй — обомлел:
На горячей равнине ковыльной
Осыпался, шуршал и белел
Наш песчаник, наш камень точильный!

Дармограй рухнул наземь доской,
На свое рассердившись хохлацтво,
Зарыдал и воскликнул с тоской:
— Жив не буду — добуду богатство! —

То ль богатство таил Туркестан,
То ль судьбу испугал этот вызов,
То ль помог Дармограю обман, —
А добыл он земли от киргизов.

Дом построил. Хозяйство завел.
Посадил и вишневый садочек.
Уж поглядывать начал хохол
На кацапских зажиточных дочек.

Там, где кони Чингиза паслись
На ковыльных седеющих волнах,
Ныне жирные куры неслись
И покорно вертелся подсолнух.

Но судьба держит чаши весов,
И не любит она измененья.
Что ей ропот людских голосов?
Что ей дольних страстей дуновенья?

На село напустила орду,
Выпрямляя плечо коромысла,
И без тела на вишне в саду
Голова Дармограя повисла.

И травы сокращая предел,
Против жгучего ветра бессильный,
Осыпался, шуршал и белел
Наш песчаник, наш камень точильный.

1946. Пржевальск

У ДОРОГИ

Пестрое стадо пришло к луговому обилью.
Мальчик-пастух по-турецки сидит на траве.
Автомобиль иногда обдаёт его пылью.
Тени от листьев — на рваном его рукаве.

Дай-ка, пастух, я с тобою немного побуду.
На, закури,
хоть мальчишкам курить не велят.
Видишь ты женщину,
ту, что направилась к пруду?
Я ее девочкой помню лет двадцать назад.

Мимо прошла, посмотрев на меня равнодушно,
Не обернулась, а я побоялся позвать.
Тут прошумела машина, и стало мне душно.
Пыль улеглась, но уже никого не видеть.

1946

ТОТ ЖЕ ПРИЗНАК

На окраине нашей Европы,
Где широк и суров кругозор,
Где мелькают весной антилопы
В ковылях у заснувших озер,

Где на треснувшем глиняном блюде
Солонцовых просторов степных
Низкорослые молятся люди
Желтым куклам в лоскутьях цветных.

Где великое дикое поле
Плавно сходит к хвалынской воде,
Видел я байронической боли
Тот же признак, что виден везде.

Средь уродливых, грубых диковин,
В дымных стойбищах с их тишиной,
Так же страстен и так же духовен
Поиск воли и дали иной.

1947

МУЗЫКА ЗЕМЛИ

Я не люблю ни опер, ни симфоний,
Ни прочих композиторских созданий.
Так первого столетия христиане,
Узнав, что светит свет потусторонний,
Что Бог нерукотворен и всемирен, —
Бежали грубых капищ и кумирен.

Нет, мне любезна музыка иная:
В горах свое движенье начиная,

Сперва заплачка плещется речная,
Потом запевка зыблется лесная,
И тихо дума шелестит степная,
В песках, в стозвонном зное исчезая.

Живем, ее не слыша и не зная,
Но вдруг, в одну волшебную минуту,
В душе подняв спасительную смуту,
Нам эта песнь откроется земная.
Бежим за нею следом, чтоб навеки
Исчезнуть, словно высохшие реки.

1947

НА ТЯНЬ-ШАНЕ

Бьется бабочка на горле кумгана,
Спит на жердочке беркут седой,
И глядит на них Зигмунд Сметана,
Элегантный варшавский портной.

Издалека занес его случай,
А другие исчезли в золе,
Там, за проволокою колючей,
И теперь он один на земле.

В мастерскую, кружась над саманом,
Залетает листок невзначай.
Над горами — туман. За туманом —
Вы подумайте только — Китай!

В этот час появляются люди:
Коневод на кобылке Сафо,
И семейство верхом на верблюде,
И в вельветовой куртке райфо.

День в пыли исчезает, как всадник.
Овцы тихо вбегают в закут.
Зябко прячет листы виноградник
И опресноки в юрте пекут.

Точно так их пекли в Галилее,
Под навесом, вечерней порой...
И стоит с сантиметром на шее
Элегантный варшавский портной.

Не соринка в глазу, не слезинка, —
Это жжет его мертвым огнем,
Это ставшая прахом Треблинка
Жгучий пепел оставила в нем.

1948. Токмак

ВЕЧЕР НА ЧЕГЕМЕ

Вот сидит пехотинец
На почетной скамейке в кунацкой.
Молодой кабардинец
Возвратился со службы солдатской.

Просынную лепешку
Он в густую приправу макает,
Обо всем понемножку
Он в семейном кругу вспоминает.

На дворе, у сапетки,
Мать готовит цыпленка в сметане.
Дом построили предки, —
Есть об этом немало преданий.

На стене, где кремневка —
Память битвы за вольность Кавказа,
Где желтеет цыновка,
Что нужна старику для намаза, —

Карта, вроде плаката:
План столичного города Вены...
День дошел до заката, —
Не погас разговор откровенный,

Разговор задушевный, —
Из чужих здесь одни лишь соседи,
И Чегем многогневный
Принимает участие в беседе.

Он течет у порога,
Как сказителя-старца поэма.
Звуки властного рога
В этом резком теченье Чегема!

Равнодушный, бесслезный,
Чуждый скорби и чуждый веселья,
Вечер тихо и грозно,
Как хозяин вступает в ущелье.

1948. Чегемское ущелье

ЯЗЫК ЭЛЬБРУСА

Преданья старые разыщем,
Хотя о прошлом весть глуха.
Эльбрус был некогда жилищем
Богов могучих, мудрых тха.

Был всех сильнее Тлепш: на горне
Язык для горцев он сковал
Гортанный, как поток нагорный,
Жестокий, как в горах обвал.

Он не певуч, в нем мало гласных,
Течет он мутно, тяжело,
Но как люблю я звуков властных
Своеобычное русло!

Он возлюбил свои мытарства,
Ни с кем не хочет он родства,
Ему противны государства
Мертворожденные слова.

Как часто на камнях эльбрусских
Он прятался в ущельях скал
И вдруг, над самым ухом русских,
В стволах кремневок возникал!

... Кто это с гор в долину сходит?
То поселенец Кабарды.
Глазами ястреба обводит
Домишек белые ряды.

О чем бормочет он, осколок
Давнишних битв, седой смутьян?
Курортный видит он поселок
И дым над зданьем серных ванн.

Он слышит грохот на полянке,
И узнает издалека
Жену завхоза на тачанке
С большим бидоном молока.

Его слова текут без цели,
Но не погибнут без следа:

Еще ударит из ущелий
Вольнолюбивая вода.

1948. Нальчик

САПОЖНИК

Писанье читает сапожник
В серебряных круглых очках.
А был он когда-то безбожник,
Служил в краснозвездных войсках

Знакомый станичник, хорунжий,
Деникинец был им пленен.
За это геройство на Сунже
Буденным он был оценен.

Домой он вернулся с заслугой,
С отрезанной напроць ногой.
На станции встречен супругой,
Поплыл он в простор золотой.

Душистое зыбилося жито,
Шумела земля во хмелю.
Листочек, росую промытый,
К сухому прилип костылю.

В такое бы время — на жатву,
Дневать, ночевать на току,
А взялся за шило и дратву, —
Спасибо, старался в полку.

Стучит молоточек по коже,
Всю четверть столетья стучит,

Душа только, Боже мой, Боже,
Всю четверть столетия молчит.

Сквозь кашель и душный, и нудный,
Сквозь кашель всю ночь напролет,
Рассказывать скучно и трудно,
Замолкнет, едва лишь начнет.

Старуха ничем не утешит,
Смеется блудливым смешком
И жирные волосы чешет
Беззубым стальным гребешком.

Шуршит за страницей страница,
Лучина давно не нужна.
Давно рассветает станица,
Давно уже в поле жена.

Он вышел. Ногою босою
Почувствовал: дышит земля.
Листочек, промытый росой,
Пристал — и упал с костыля.

О если бы на зло удушью
Всей грудью прохладу вдохнуть,
В свою же заглохшую душу
Хотя бы на миг заглянуть,

О если бы, пусть задыхаясь,
Сказать этой ранней порой,
Что в жизни прекрасен лишь хаос,
И в нем-то и ясность, и строй.

1948

РАННЕЕ ЛЕТО

Мы оставили хутор Веселый,
Потеряли печать при погрузке,
А туда уж вошли новоселы
И команда велась не по-русски.

Мы поставили столик под вишней,
Застучал ремингтон запыленный...
— Ну сегодня помог нам всевышний, —
Усмехнувшись, сказал батальонный.

А инструктор Никита Иваныч
Все смотрел, сдвинув светлые брови,
На блестящий, как лезвие, Маныч
И еще не остывший от крови.

Как поймет он, покинутый верой, —
Что страшнее: потеря печати,
Или рокот воды красно-серой,
Или эхо немецких проклятий?

Столько нажито горечи за ночь,
Что ж сулит ему холод рассвета,
И воинственно блещущий Маныч,
И цветение раннего лета?

Искривил он язвительно губы,
Светит взгляд разумением ясным...
Нет, черты эти вовсе не грубы,
Страх лицо его сделал прекрасным!

Ах, инструктор Никита Ромашко,
Если б дожил и видел ты это, —
Как мне душно, и жутко, и тяжело
В сладком воздухе раннего лета!

Я не слышу немецких орудий,
Чужеземной не слышу я речи,
Но грозят мне те самые люди,
Что отвергли закон человеческий.

Тупо жду рокового я срока,
Только дума одна неотвязна:
Страх свой должен я спрятать глубоко,
И улыбка моя безобразна.

май 1949.

СТЕПНАЯ ПРИТЧА

Две недели я прожил у верблюдопаса.
Ел консервы, пока нам хватило запаса,

А потом перешел на болтушку мучную,
Но питаться, увы, приходилось вручную.

Нищета приводила меня в содроганье:
Ни куска полотна, только шкуры бараньи,

Ни стола, ни тарелки, ни нитки сученой,
Только черный чугунный казан закопченный.

Мой хозяин был старец, сухой и беззубый.
Мне внимая, сердечком он складывал губы

И выщипывал редкой бородки седины.
Пальцы были грязны, но изящны и длинны.

Он сказал мне с досадой,
но с виду бесстрастно:
„Свысока на меня ты глядишь, а напрасно.

Я родился двенадцатым сыном зайсанга,
Я в Тибете бывал, доходил и до Ганга,

Если хочешь ты знать, то по тетке-меркитке
Из чингизовой мы приходим кибитки!"

Падежей избегая, чуждаясь глаголов,
Кое-как я спросил у потомка монголов:

„Отчего ж темнота, нищета и упадок?”
Он сказал: „То одна из нетрудных загадок.

Я отвечу тебе, как велит наш обычай,
Потускневшей в степи стародавнюю притчей.

Был однажды великий Чингиз на ловитве.
Взял с собой он
не только прославленных в битве,

Были те, кто и в книжной премудрости быстры,
По теперешним званиям большие министры.

Соизволил спросить побеждавший мечом:
– Наслаждение жизни, по-вашему, в чем?

Поклонился властителю Бен Джугутдин,
Из кавказских евреев был тот господин.

Свежий, стройный, курчавый,
в камзоле атласном,
Он промолвил своим языком сладкогласным:

— Наслаждение жизни — в познании жизни,
А познание жизни — в желании жизни.

— Хорошо ты поешь, — отвечал Темурчин, —
Только пенье твое не для слуха мужчин.

Тот, кто рубит ребенка, и птицу, и древо,
Тот, кто любит беременным
вспарывать чрево,

Кто еще не родившихся режет ножом,
Разрушает настойчивый труд грабежом, —

Ненавистный чужбине и страшный отчизне,
Только тот познает наслаждение жизни!”

... Солнце медленно гасло
над степью ковыльной.
Мой хозяин добавил
с усмешкой бессильной:

„Вот какой был порядок властителю сладок,
Потому-то пришло его племя в упадок.”

1949

ПЕРЕСЕЛЕНЕЦ

Тихо напевает арычок
О звезде над Тихим океаном
И о том, что белый кабачок
При дороге вырос под каштаном.

Пестики, покрытые пылью,
Средь листвы колеблемый фонарик...
Кружку пива пьет товарищ Цой,
Загорелый, высохший малярик.

В тайники тоскующей души
Проникают запахи соблазна.

Шашлыки, пельмени, беляши, —
Вкусно, жирно, дешево и грязно.

Все похоже на родной уют,
На стене — следы густой олифы,
Предлагая сорок разных блюд,
Сверху вниз бегут иероглифы.

Дальше — рынок. Продают собак.
А на среднеазиатском лессе
Набухает рис. Пахуч табак.
Хороши пшеничные колосья.

Что в полях желтеет вдалеке?
Кореянка. И над нею звонок
Комариный плач. В тугом мешке
Неподвижен за спиной ребенок.

Старый Цой, о чем же ты грустишь?
Может, погрузился ты в нирвану?
Иль в твою насильственную тишь
Ворвалась тоска по океану?

Здесь чужая, знойная земля,
В воздухе — безумье и тревога,
И бежит, и кружится, пыля,
Грейдерная бойкая дорога.

1950. Кибрай

У ШЛАГБАУМА

Словно дым над кибиткой,
растаяли дымы легенд,

И теперь на дороге — шлагбаум:
запрещает в Ташкент
Провозить из района
картофель, и фрукты, и рис.
Вот машина к мосту подошла.
Сколько лиц, сколько грузов!
Контролер, с колеса,
заглянув невнимательно в кузов,
Сунул руку в кабину, —
машина поехала вниз.

Школьник с мамой стоит,
хочет мир непонятный понять.
Он острижен под ноль,
и одна лишь оставлена прядь.
Это что за обычай?
Никак на припомнится мне...
Вспомнил! Вспомнил — и понял,
о мальчик с зеленой тетрадью:
Мать украсила сына любимого
жертвенной прядью
В честь отца,
что пошел на войну и погиб на войне.

Мальчик с прядью
и женщина с торбою на голове,
Шорох ветра в сухой,
придорожной, тяжелой траве,
День, державно ко сну отходящий
в червонном венце,
Контролер на посту,
выплывающий месяц двурогий, —
Что я вам? Что вы мне?
Что нам делать на этой дороге?

Сколько можно томиться догадкой
о скором конце?

1950. Кибрай

КАВКАЗ ПОДО МНОЮ

*Отселе я вижу потоков рождение...
Пушкин*

У Маруси случилось большое несчастье:
Взяли мужа. В субботу повез он врача
И заехал к любовнице, пьяный отчасти.
В ту же ночь он поранил ее сгоряча:

С кабардинцем застал.
Дали срок и угнали.
А Маруся жила с ним два года всего.
И полна она злобы, любви и печали,
Ненавидит его и жалеет его.

Камни тускло сбегают по ленте рекою,
И Маруся, в брезентовой куртке, в штанах,
Их равняет беспомощной, сильной рукою,
И поток обрывается круто впотьмах.

Из окна у привода канатной дороги
Виден грейдерный путь,
что над бездной повис.
В блеске солнца скользя, огибая отроги,
Вагонетки с породой спускаются вниз.

В облаках исчезая часа на четыре,
Возвращаются влажными: дождь на земле.

Здесь, под вечными льдами,
 в заоблачном мире,
Скалы нежатся в солнечном, ясном тепле.

Словно облако, мысль постепенно рождалась:
Здесь легко человека причислить к богам
Оттого, что под силу ему оказалось
Добывать из эльбрусского камня вольфрам.

Он сильнее становится с каждой попыткой,
Он взобрался не даром наверх по стволу!
... Вот Маруся вошла, освещая карбидкой
Транспортер, уплывающий в пыльную мглу.

Пусть моторы дробилки шумят на Эльбрусе,
Там, где горных орлов прекратился полет, —
Об одном говорят они тихой Марусе:
— Он вернется назад,
 он придет, он придет!

Пусть три тысячи двести над уровнем моря,
Пусть меня грузовик мимо бездны провез,
Все равно нахожусь я на уровне горя,
На божественном уровне горя и слез.

Потому-то могу я улыбкой утешной
На мгновенье в душе отразиться больной,
Потому-то и жалкий, и слабый, и грешный,
Я сильнее Кавказа, Кавказ подо мной.

1950. Тырныауз

СОСНЫ

На сосны я смотрел с террасы,
На то, на это деревцо.
Они, как люди чуждой расы,
Казались на одно лицо.

Но длился труд мой плодоносный,
Свой свет на все он излучал,
И начал различать я сосны,
Как я калмыков различал.

У этой рост красив и долог,
У той опоры нет в земле.
От веток ломких, от иголок,
Не схожи тени на стволе.

Вон та горда своим убором,
Но так недуг ее тяжел,
Что планочкой пришлось с забором
Соединить непрочный ствол.

Ее жалеют: не жилища.
Слабее всех она в саду.
Лишь ночью тихо золотится,
Вонзаясь иглами в звезду.

Вон та не даст расти клубнике,
Ее невинный облик — ложь.
О той расскажешь только в книге,
Об этой в песне запоешь.

Нет безразличия бывшего,
Я новых нахожу друзей,
И отзывается, как слово,
Их робкий шум в душе моей.

1951

В ШАТРЕ

Я был рабом в стране Ирана,
Рабом и правнуком раба,
Когда запела утром рано
Тревоги бранная труба.

Надсмотрщик наш взглянул на ригу
И начал вежливую речь:
„Смените мирную мотыгу,
Друзья мои, на грозный меч.

Единым телом станем ныне,
Сатрап и всадник, жрец и раб:
Дыханьем ночи и пустыни
Повеял кочевой араб.

Он сеет смерть с восторгом диким,
Глотает ящериц живьем,
Не озаренный светлоликим
Всеочищающим огнем”.

Нам выдали мечи и луки,
В шатрах походных спим сейчас,
И воинской, мужской науке
Начальник храбрый учит нас.

Не он увел мою невесту
И ложь за правду выдавал,
Не он, молясь и чтя Авесту,
Колесовал, четвертовал.

Не он во мраке подземелья
Сгноил, разгневан, верных слуг,
Не он побил меня с похмелья
И продал мать мою на юг.

Сегодня мне сказал он с лаской:
— Один живешь ты иль женат?
Жены вернее — меч дамасский.
Ну, отдохни, рога трубят...

А между тем бегут в испуге
Иранцы от магометан.
Жива ли мать моя на юге?
Приказа ждет наш бранный стан.

Приставив латы к изголовью,
На меч гляжу я в тишине,
Еще не обгаренный кровью
Врага, неведомого мне.

Впервые получив оружие,
Чтоб гибель принести врагу,
Я земледелец неуклюжий,
К нему привыкнуть не могу.

Но чувствую: к чему приемы
Душе, кипящей от обид?
Встань предо мною, враг знакомый,
И месть моя заговорит!

Страданию не нужен опыт,
Страданию послушна сталь...
Уснули гул, и пыль, и топот,
И я гляжу, бессонный, вдаль.

Мерещится мне дымный город,
И там, в шатре, объятый тьмой,
От горла до пупа распорот,
Лежит в крови начальник мой.

1951

Я — ваш стыд, ваша месть, обожаю вас всех
Материнским слепым обожаньем.

Это море ночное с коврами огня,
Эти улицы с грубой толпою,
Это смутное чаянье черного дня...
Оказалось, что родина есть у меня,
Я скреплен с ее тяжелой судьбою.

1952

У РАЗВАЛИН ЛИВОНСКОГО ЗАМКА

Быстро по залу ливонского замка
Старый епископ шагал.
„Смерть божества это смерть моей смерти”, —
Он по привычке шептал.
Звенели кольчуги.
Борзые и слуги
Наполнили сумрачный зал.

Рыцарей смяло славянское войско,
Бросить заставив щиты.
Всюду валялось оружие с гербами —
Грифы, олени, кресты.
Измучились кони.
Под ветром погони
Поникнув, дрожали кусты.

Крикнул епископ: „Не бойтесь осады,
Наша твердыня крепка.
Знаменем крестным ее осенила
Архистратига рука.
Гранитные своды

Подземные ходы
Останутся здесь на века!”

Ядра вонзались в могучие стены,
Блеском смертельным блестя.
Рыцари в латах своих задыхались,
Камни к бойницам катя,
И падали с башен.
И кровью окрашен,
Шиповник расцвел, не цветя.

Вот и остались от замка руины
И ничего — от владык.
Плесень забила подземные ходы,
В камне — паук-крестовик,
И только безвестный
Шиповник прелестный
Под гнетом веков не поник.

Так же цветет на родном моем юге,
Сушится в душной избе,
Пахнет в ауле, где сакли пустые,
Дым не идет по трубе,
Калмыцким курганом
Иль рижским органом
Он миру твердит о себе:

„О сколько прошло их,
ужасно их сходство,
Желавших богатства,
искавших господства,
Грозивших мечом и огнем!
Невнятно им было,
Что главная сила
Сокрыта в цветенье моем.

Обожгло беспредельных снегов белизну,
Ядом сердца вошло в твое сердце живое,
И почуял ты, бедный, весну.

И тебе показалось, что нежен и розов
Небосвод, что уж больше не будет морозов,
В толщу снега проникла горячая дрожь,
Даже в дальних, знакомых гудках паровозов
Ты веселую весть узнаешь.

То-то прыгаешь ты среди зимнего царства
И чирикаешь вечную песню бунтарства.
Ух, какой озорной! Вот взлетел на забор,
И суровых, тяжелых снегов государство
Охватил твой мятущийся взор.

Белка, хвост распушив, постоит перед елкой,
Иль вдали ты заметишь монтера с кошелкой,
Говоришь себе: „Скоро приедут жильцы,
Это все не случайно. Запой же, зашелкай,
Чтоб тепла встрепенулись гонцы!”

Мой дружок, ты обманут, не жди ты веселий.
Этот огненный шар, что горит между елей, —
Он снегов холодней, он тепла не принес.
Если хочешь ты знать,
 он предвестник метелей,
И в него-то ударит мороз.

Ну, куда тебе петь! Скоро стужею дикой
Будешь ты унесен по равнине великой.
Впрочем, больно и стыдно тебя огорчать.
Песни нет, а настала пора, так чирикай,
Потому что труднее молчать.

И быть может, когда ты сидел на заборе,
Впрямь весна родилась, и пахучие зори,

И свобода воды, и ликующий гром, —
Ибо все это было в мятущемся взоре
И в чирикание жалком твоём.

март. 1953

ЗАКАТ

Выкован серп. Он мгновенно остыл.
И высоко заблистал над полями.
Небо — как сельская кузня. И пламя
Пышет — огромное, полное сил.

Реет орел по горящему своду,
Рдеют цветы на гранитной скале.
Голубь из кубка, — из ямки в земле, —
Пьет дождевую нагретую воду.

Горы в каком-то смущенье стоят,
Словно пришли они к пахарям в гости,
Ждут, что предложат им спелые грозди,
Ждут, что попросят в пылающий сад.

Если увижу конец мирозданья,
Вспомню я лето и вечер в горах,
И позабудутся горечь и страх,
Наше бесплодное бремя страданья.

1954

В НОЧНОМ РОСТОВЕ

Светло на площадях Ростова,
На спусках глухо и темно,
И только в тихом Доне снова
Ночное пламя зажжено, —

То азиатскими коврами
На легкой зыблется волне,
То светозарными столбами
Горит в недвижной глубине.

Порой, полнеба озаряя,
Там, на невидимом мосту,
Сверкнет галактика трамвая
Ниспровергаясь в темноту.

Речной вокзал, толпу с поклажей,
Влюбленной пары „да” и „нет”,
Как нити из непрочной пряжи,
Выхватывает беглый свет.

Мне вспомнилось другое пламя
Горела степь, горел Ростов.
Закат взвивался, точно знамя
Завоевательских полков.

Майор НКВД, с бумагой,
накопленной за столько лет,
В машине драпал... Над беднягой
Смеясь, ему глядел я вслед.

Смеясь... А сам я ждал, что буду
Я в этом пламени сожжен,
Но жаждал чуда, верил чуду,
Бежал, огнем заморожен,
А тихий Дон, а Дон жестокий

Торжествовал: „Бегишь? Бегишь?
Беги: погибнешь на востоке,
А нет — на западе сгоришь!”

Но сердце Дону отвечало:
„Молчи ты, голубой лампас!
Сгорю, но жить начну сначала:
Мой смертный час — мой светлый час!”

Мой светлый час... Огни трамвая,
Реки блистанье, смех впотьмах...
О неужели правда злая
Таилась, Дон, в твоих словах?

1954

ДЕКАДА НАЦИОНАЛЬНОГО ИСКУССТВА

Кавказская дудка запела в Колонном,
И вдруг показалось чинушам,
Что стадо пестреет на склоне зеленом,
Внимая напевам пастушьим.

А там просыпается, давит зевоту
Колхозник в селении сонном,
И колокол кличет людей на работу
Угрюмым, безжизненным звоном.

1955

ПОДРАЖАНИЕ КОРАНУ

Глава ХСІХ

Не упаду на горы и поля
Ни солнцем теплым, ни дождем весенним:
Ты сотрясешься, твердая земля,
Тебе обетованным сотрясеньем.

Ты мертвецов извергнешь из могил,
Разверзнутся блистательные недра.
Твой скорбный прах сокровища таил,
И ты раздашь их правильно и щедро.

Узнает мир о друге и враге,
О помыслах узнает и поступках
Закоченевших в тундре и тайге,
Задушенных в печах и душегубках.

Один воскликнет нагло и хитро:
— Да, сотворил я зло, но весом в атом!
Другой же скажет с видом виноватым:
— Я весом в атом сотворил добро.

1955

ПЕПЕЛ

Постарались и солнце, и осень,
На деревьях листву подожгли.
Дети пламени кленов и сосен,
Отпылав, на земле полегли.

Очертаньем, окраскою кожи,
Плотью, соком, краскою резной

В этом, красном,— обличье индийца,
Этот, желтый, — ну, право, монгол.
Этот миром не мог насладиться,
Зеленя, сгорел, отошел.

Не хотим удивляться бессилью,
Словно так им и надо лежать,
Пеплом осени, лагерной пылью
Под ногами прохожих шуршать.

Отчего же осенним затишьем
Мы стоим над опавшей листвой
И особенным воздухом дышим
И не знаем вины за собой?

Тополей и засохших орешин,
Видно, тоже судьба не проста.
Ну, а я-то не лист, не безгрешен,
Но, быть может, я лучше листа?

Знал я горе, стремление к благу,
Муки совести, жгучий позор...
Неужели вот так же я лягу —
Пепел осени, лагерный сор?

1956

БОГОРОДИЦА

1

Гремели уже на булыжнике
Немецкие танки вдали.
Уже фарисеи и книжники
Почетные грамоты жгли.

В то утро скончался Иосиф,
Счастливец, ушел в тишину,
На муки жестокие бросив,
Рожавшую в муках жену.

2

Еще их соседи не предали,
От счастья балдея с утра,
Еще даже имени не дали
Ребенку того столяра,
Душа еще реяла где-то
Умершего сына земли,
Когда за слободкою в гетто
И мать, и дитя увели.

3

Глазами недвижными нелюди
Смотрели на тысячи лиц.
Недвижны глаза и у челяди —
Единое племя убийц.
Свежа еще мужа могила,
И гибель стоит за углом,
А мать мальчугана кормила
Сладчайшим своим молоком.

4

Земное осело, отсеялось,
Но были земные дела.
Уже ни на что не надеялась,
Но все же чего-то ждала.
Ждала, чтобы вырос он, милый,
Пошел бы, сначала ползком,
И мать мальчугана кормила
Сладчайшим своим молоком.

И яму их вырыть заставили,
 И лечь в этом глиняном рву,
 И нелюди дула направили
 В дитя, в молодую вдову.
 Мертвящая, черная сила
 Уже ликовала кругом,
 А мать мальчугана кормила
 Сладчайшим своим молоком.

Не стала иконой прославленной,
 Свалившись на глиняный прах,
 И мальчик упал окровавленный
 С ее молоком на губах.
 Еще не нуждаясь в спасенье,
 Солдаты в казарму пошли,
 Но так началось воскресенье
 Людей, и любви, и земли.

1956

ПРИЗРАКИ

Портреты вождей увеличим,
 Тряхнем торжественным кличем,
 Сварганим пейзаж.
 Халтурщики, дилетанты,
 Сомнительные таланты,
 Я с вами, я ваш.

Мы сами, познав бесправье,
 Себя обрekli на бесславье,

На жалкий удел.
Есть кое-что на сберкнижке,
Но мы все те же мальчишки,
Так Бог захотел.

Нас нет в печатных обзорах,
Мы призраки, о которых
Не знает никто.
Не сломимся, хоть согнемся,
Едва лишь для Бога проснемся,
Мы пишем про то,

Что дышит смертельно и трудно,
Хоть сверху живет, а подспудно,
Про слезы и стыд,
Про то, что в грязи прозябает,
Само себя презирует,
Себя победит.

Кто может сказать России,
Что мы, только мы — живые,
Что действует храм,
Что мы, только мы — прямые
Наследники Иеремии.
О, горе нам!

1957

МОЛОДАЯ МАТЬ

Лежала Настенька на печке,
Начфин приезжий — на полу.
Посапывали две овечки
За рукомойником в углу.

В окне белела смутно вишня,
В кустах таился частокол.
И старой бабке стало слышно,
Как босиком начфин прошел.

Ее испуг, его досада
И тихий жаркий разговор.
— Не надо, дяденька, не надо!
— Нет, надо! — отвечал майор.

Не на Дону, уже за Бугом
Начфин ведет свои дела,
Но не отделалась испугом,
Мальчонку Настя родила.

Черты бессмысленного счастья,
Любви бессмысленной черты, —
Пленяет и пугает Настя
Сияньем юной красоты,

Каким-то робким просветленьем,
Понятным только ей одной,
Слегка лукавым удивленьем
Пред сладкой радостью земной.

Она совсем еще невинна
И целомудренна, как мать.
Еще не могут глазки сына
Ей никого напоминать.

Кого же? Вишню с белой пеной?
Овечек? Частокол в кустах?
Каков собою был военный:
Красив ли? Молод ли? В годах?

Все горечи еще далеки,
Еще таит седая рань

Станичник грубые попреки,
И утешения, и брань.

Она сойдет с ребенком к Дону,
Когда в цветах забродит хмель,
Когда Сикстинскую мадонну
С нее напишет Рафаэль.

1955

ЗВЕЗДА

Я слышал, что в системах вселенной
Есть такая ж, как наша, звезда.
Силой техники, все еще пленной,
Мы проникнуть не можем туда.

Только знаем: не то, что подобна,
А тождественна нашей во всем,
Та звезда повторяет подробно
Все, что здесь, на земле, мы найдем.

Тот же волк пожирает овечек,
Те же муки, и счастье, и вздор,
И такой же, как я, человек
Там вздыхает, куря „Беломор”.

Так же душу смущает сиянье
Загоревшихся маленьких звезд...
До любимой его расстояние —
Ну, не более тысячи верст.

Выйти из дому, вдруг, без предлога,
Сесть в вагон — небольшие труды,

Только к ней тяжелее дорога,
Чем до самой далекой звезды.

1955

ЮЖНЫЙ ПОЛДЕНЬ

Южный полдень. Так женственно нежны
Серых скал и хребтов очертанья,
Так под ними белы, безмятежны
Санаторные зданья.

Так легка синева небосклона,
Каждый раз так чудесно-нежданна
Над балконом, над желто-зеленой
Головою каштана.

Только листья бормочут порою,
Только пташек слышна перекличка
Да внизу, далеко за листвою,
Прогудит электричка.

Только ветер, холодный и чистый,
Сквозь жару набежит с перевала, —
Будто здесь не бывали фашисты
И убийств не бывало.

Что ж, проходят кровавые годы,
Эту прелесть ничто не порочит,
Но в короткую память природы
Сердце верить не хочет.

1955

ГРЕК

У самого Понта Эвксинского,
Где некогда жил Геродот,
У самого солнца грузинского,
Где цитрус привольно растет,

Где дышит в апреле расцветшая
Пугливая прелесть цветов,
Где пышет вражда сумасшедшая
Различных племен и родов,

Где землю копают историки
На твердом морском берегу, —
Кофейню в неприбранном дворике
Никак я забыть не могу.

Туристы, простые и знатные,
Дороги не ищут сюда.
Бывают здесь люди приятные,
Почтенные люди труда.

Армяне-сапожники, умницы,
Портные, торговая сеть,
Мыслители рынка и улицы
Здесь любят в прохладе сидеть.

В обычаях жителя местного —
Горячий, но вежливый спор.
За чашечкой кофе чудесного
Неплохо вести разговор.

Там, в дальнем углу, — завсегдатаи,
И это видать по всему.
Как рады, худые, усатые,
Соседу они своему!

Он смотрит глазами блестящими,
Издерганный, смуглый, седой.
Поднимет руками дрожащими
То кофе, то чашку с водой,

Поднимет — и в жгучем волнении
На столик поставит опять.
„... Я сделал им там заявление:
— А что, если смогут узнать,

О нашей проводят гибели
Бойцы Белояниса вдруг?
За это и зубы мне выбили.”
„А много ли?” — „Тридцать на круг.”

„Да что ты, чужак, ерепенишься?
Вернулся? Живи как-нибудь!
Еще ты не старый, ты женишься,
Но рот себе справь, не забудь.”

Он слушал и шутки отбрасывал
Оливковой нервной рукой.
А море закат опоясывал
И шум утихал городской.

Казалось, что крик человеческий
Рождался в глубинах морских:
Одних проклинал он по-гречески,
По-русски рыдал о других.

1956. Сухуми

ПОХОРОНЫ

Умерла Татьяна Васильевна,
Наша маленькая, близорукая,
Обескровлена, обессилена
Восемнадцатилетнею мукою.

С ней прощаются нежно и просто,
Без молитвы и суеты,
Шаповалов из Княж-Погоста,
Яков Горовиц из Ухты.

Для чего копать в истории,
Как возникли навет и поклеп?
Но когда опускался гроб
В государственном крематории, —

Побелевшая от обид,
Горем каторжным изнуренная,
Покоренная, примиренная,
Зарыдала тундра навзрыд.

Это раны раскрылись живые,
Это крови хлестала струя,
Это плакало сердце России —
Пятьдесят восьмая статья.

И пока нам, грешным, не терпится
Изменить или обдумать судьбу,
Наша маленькая страстотерпица
Входит в пламя — уже в гробу.

Но к чему о скорби всеобщей
Говорить с усмешкою злой?
Но к чему говорить об усопшей,
Что святая стала золой?

Помянуть бы ее, как водится
От языческих лет славянства...
Но друзья постепенно расходятся,
Их Москвы поглощает пространство.

Лишь безмолвно стоят у моста,
Посреди городской духоты,
Шаповалов из Княж-Погоста,
Яков Горовиц из Ухты.

1958

УЛИЦА ПЕЧАЛИ

Говорливый, безумный базар воробьев
На деревьях — свидетелях давних боев,
Вавилонская эта немая тоска
Потемневшего известняка. .

Эта улица, имя которой Печаль,
И степная за ней безысходная даль,
Тишина и тепло, лишь одни воробьи
Выхваляют товары свои.

Да сидят у подвала с газетой старик
И старуха, с которой болтать он привык
И смотрю я на них, и текут в забыты
Бесприютные слезы мои.

1959. Одесса

СОЛДАТ РЕВОЛЮЦИИ

Подтянут, выбрит и усат,
Он весь — живое чудо.
Уехав двадцать лет назад,
Вернулся он оттуда.

Его припомнит, кто знаком
С архивным матерьялом.
В горах он возглавлял ревком
И дрался за Дарьялом.

Отсчитывал за годом год
В колымской глухомани,
И перед нами предстает
В столичном ресторане.

Вот, не стесняясь тесноты,
Садится в нашей шайке,
И проступают в нем черты
Шакала, попрошайки.

Многоречив, несчастен, льстив,
Он ради легкой рюмки
Поет на каторжный мотив
Свои печали-думки.

Смотрю, — да ты, брат, умудрен
Таежною наукой.
Кем ты пришел из тех сторон?
Кем был ты? Вором? Сукой?

Истерла ли тебя беда,
Когда попал в макотру,
Иль был таким же ты, когда
Бил внутреннюю контру?

Эх, Колыма ты, Колыма,
Чудесная планета,
Двенадцать месяцев зима,
Остальное — лето.

1960

СОЛОВЕЙ ПОЕТ

Соловей поет за рекой лесной,
Он поет, — расстаются вдруг
То ли брат с сестрой, то ли муж с женой,
То ль с любовницей старый друг.

Поезда гудят на прямом бегу,
И кукушки дрожит ку-ку,
Дятлу хочется зашибить деньгу,
Постолярничать на суку.

Ранний пар встает над гнилой водой,
Над зеленой тайной болот.
Умирает наш соловей седой,
Умирая, поет, поет...

май 1960

ОДНА МОЯ ЗНАКОМАЯ

Мужа уводят, сына уводят
В царство глухое,
И на звериный рык переводят
Горе людское.

Обыски ночью — и ни слезинки,
Ни лихоманки
Возле окошка, возле кабинки,
Возле Лубянки.

Ей бы, разумной, — вольные речи,
Но издалече
Только могила с ней говорила,
Только могила.

Ей бы игрушки, ей бы подарки,
Всякие тряпки, —
Этой хохлушке, этой татарке,
Этой кацапке,

Но ей сказали: „Только могила,
Только могила!”
Все это было, все это было,
Да и не сплыло.

1960

АКУЛИНА ИВАНОВНА

У Симагиных вечером пьют,
Акулину Ивановну бьют.

Лупит внук, — не закончил он, внук,
Академию разных наук:

„Ты не смей меня, ведьма, сердить,
Ты мне опиум брось разводить!”

Тут и внука жена, и дружки,
На полу огурцы, пирожки.

Участковый пришел, говорит:
„По решетке скучаешь, бандит?“

Через день пьем и мы невзначай
С Акулиной Ивановной чай.

Пьет, а смотрит на дверь, сторожит.
В тонкой ручечке блюдец дрожит.

На исходе десятков восьмой,
А за внука ей больно самой.

В чем-то держится эта душа,
А душа — хороша, хороша!

„Нет, не Ванька, а я тут виной,
Сам Господь наказал его мной.

Я-то что? Помолюсь, отойду
Да в молитвенный дом побреду.

Говорят мне сестрицы: „Беда,
Слишком ты, Акулина, горда,

Никогда не видать твоих слез,
А ведь плакал-то, плакал Христос.“

1960

В БОЛЬШОМ КОЛЬЦЕ

Асфальт врывается в траву,
Лес как бы надвое распорот:
Стараясь повторить Москву,
В лесу внезапно вырос город.

В нем есть кино, универмаг
И стадион под синим сводом.
Еще не завелось бродяг:
Здесь житель кормится заводом.

А жители высоких крон
Поят, паря над лесопарком,
Что так волшебнo озарен
Промышленным свеченьем жарким.

Не зная о людских делах,
Листва полна других мелодий,
Лишь объявленья на стволах
Читает в вольном переводе.

Ждет желтизна своей поры,
Играет в прятки с солнцем белка,
А за забором — маляры:
Идет покраска и побелка.

Две жизни трогаются в рост,
И в очереди у прилавка
Мне кажется: смеется дрозд,
Язвит снегирь, бормочет травка.

1960

ДОБРО

Добро — болва, добро — икона,
Кровавый жертвенник земли,
Добро — тоска Лаокоона,
И смерть змеи, и жизнь змеи.

Добро — ведро на коромысле
И капля из того ведра,
Добро — в тревожно-жгучей мысли,
Что мало сделал ты добра.

1960

ПО ВЕСЕННИМ ПОЛЯМ

Теплый свет, зимний хлам,
 снег с водой пополам,
Солнце-прачка склонилось над балкой-корытом.
Мы поедем с тобой по весенним полям,
По весенним полям, по весенним полям,
По дорогам размытым.

Наш конек седогривый по кличке Мизгирь
Так хорош, будто мчался на нем богатырь.
Дорогая, не холодно ль в старой телеге?
Узнаешь эту легкую русскую ширь,
Где прошли печенег?

Удивительно чист — в проводах — небосклон.
Тягачи приближаются с разных сторон.
Грузовые машины в грязи заскучали.
Мы поедем с тобой в запредельный район,
Целиною печали.

Ты не думай о газовом смраде печей,
Об острожной тревоге таежных ночей, —
Хватит, хватит нам глухонемого раздумья!
Мы поедем в глубинку горячих речей,
В заповедник безумья.

Нашей совести жгучей целительный срам
Станет славой людской

на судилище строгом.

Мы поедem с тобой по весенним полям,
По весенним полям, по весенним полям,
По размытым дорогам.

1960

КОМБИНАТ ГЛУХОНЕМЫХ

Даль морская, соль живая
Знойных улиц городских.
Звон трамвая. Мастерская —
Комбинат глухонемых.

Тот склонился над сорочкой,
Та устала от шитья,
И бежит машинной строчкой
Линия небытия.

Ничего она не слышит,
Бессловесная артель,
Лишь в окно сквозь сетку дышит
Полдень мира, южный хмель.

Неужели мы пропали,
Я и ты, мой бедный стих,
Неужели мы попали
В комбинат глухонемых?

1960. Одесса

ВОЖДЬ И ПЛЕМЯ

Третья книга

Поэмы

НЕСТОР И САРИЯ

Кавказская быль

1

Слышал я, что не чужды и животным
Подвижничество и борьба со злом.
В их взоры взором глянув мимолетным,
Мы человеческое узнаем.
Забуду ли тебя, кобылка Ная,
Калмыцкого тавра, светло-гнедая?
Сдружила нас военная гроза.
Забуду ли блестящие глаза
И темную тоску того сарая,
Где мы от немцев прятались вдвоем,
Вздыхали, молча, каждый о своем?

2

Но все же в человеке есть отличие, —
Мой друг иль враг, ты мне не прекословь, —
Его гибель и его величие,
Не только дух, но плоть его и кровь.
В животном порознь и живут, быть может,
Но только человек их свяжет, сложит —
Вот эти, созданные для родства,
Два радиоактивных вещества,
Чья связь, возникнув, нелюдей тревожит.

Она умрет, чтоб возродиться вновь,
Ее названье — разум и любовь.

3

Об этом много создано рассказов,
Один из них в душе моей живет.
На Черном море я узнал абхазов,
Частицу человечества, народ.
Когда из камня горя и обиды
В Египте воздвигались пирамиды,
Они в давящих делали вино,
Накапливали теплое руно,
Стреляли диких коз в лесах Колхиды
И пели по наитью, без забот:
Так утверждает честный Геродот.

4

Их научили греки иль грузины,
Крестясь, взывать к распятому в мольбе,
А на иных кричали муэдзины
И призывали к праведной борьбе,
Но до сих пор язычества герои
Им слышатся в горах, в морском прибое.
Есть новые предания. Одно
Я приведу. Уверен я: оно
Имеет отношение прямое
К судьбе земли, к моей судьбе, к тебе
И к органам НКВД — ГБ.

5

А кто же зачинатели былины?
Те дни, что на глазах у нас прошли,
Когда родные замерли долины,
Чужие были в море корабли.

Году в двадцатом, в домике крестьянском,
Найдя приют в семействе мусульманском,
Скрывался Нестор, видный большевик.
Хозяин к неизвестному привык.
Тот о житье-бытье своем цыганском
Рассказывал, о новостях земли,
Гремевших от Абхазии вдали.

6

Поджарый, сухощавый, как борзая,
Смотрел он много вечеров подряд
Сквозь узкое отверстие сарая
На удивительный земной наряд.
Здесь кипарис — ближайший друг березы,
Здесь льнут к рябине винограда лозы,
Здесь нам являют благородный нрав
Союз деревьев, сотрудничество трав,
Порфир вершин и жгучих долов розы,
И фиговые ветви, и гранат —
Славянских яблонь закавказский брат.

7

Иль призрачно согласие природы?
Иль, может быть, вражду от нас тая,
Сражаются деревья, как народы,
И в той войне — начало бытия?
Не забирался Нестор в эти выси.
Он думал, что меньшевики — в Тифлисе,
Что в ожиданье вялом нет добра,
Но действовать не пробила пора,
Что нужен не тигринный ход, а лисий,
Что в этом доме славная семья,
Что хороша как счастье Сария.

Но что такое счастье? Утверждение
 Заманчивых, заимствованных фраз?
 Родного племени освобождение?
 Быть частью взрыва, что весь мир потряс?
 Расчетов упоительная битва?
 Ловцов удачи хитрая ловитва?
 Над подчиненными такая власть,
 Чтоб страшно было им тебя проклясть
 Затем, что ты незыблем, как молитва?
 Иль божий блеск влекущих карих глаз?
 Он сам не знал в тот беспокойный час.

Не задавала этого вопроса
 Шестнадцатая девичья весна,
 Когда, лицо прикрыв рукою косо,
 С ним трепетно здоровалась она.
 Вот это счастье — постаревший рано,
 С отцом и братом рассуждавший странно,
 Небритый, невысокий человек,
 Который домогательства пресек
 И божества неверных, и Корана,
 И для которого судьба ясна —
 И даже та судьба, что ей дана!

Законы защищая новой жизни,
 Он слушал со вниманием отца,
 Чьим разговорам о дороговизне,
 Как ей казалось, не было конца.
 Он разъяснял московские декреты,
 Их смысл, дыханьем Ленина согретый,
 Он вел повествование свое,

Не глядя на нее, но для нее,
И по хозяйству он давал советы,
Взволнованные трогая сердца,
Как скрипка винодела — апхярца.

11

Он с ними распрощался, как мужчина,
Что прадедов обычаи берег.
Отведал из холодного кувшина
Домашнего вина отменный рог.
Благодарил почтительно, но ровно,
С достоинством, весьма немногословно.
В седло вскочил — и в бурке, в башлыке —
Погнал коня, мелькая в тростнике.
Хотя бы раз взглянул ли он любовно?
Но Сария не вышла на порог,
К началу новых для нее дорог.

12

Какое дело до ее мечтаний
Всему, что завертелось на земле!
К себе домой уходят англичане
И поднят красный флаг в Сухум-Кале.
Хотя сера газета, бледны краски,
К ним прибыл свежий лист как бы из сказки,
Принес крестьянам Нестора портрет.
С заслугой на груди, во френч одет,
С трибуны он смотрел, как вождь абхазский.
Газета перед всеми на столе,
А он пред ней уносится в седле.

13

Настало утро, теплое, сырое.
Причалил из Батума пароход

К сухумской пристани. В гудящем рое
Есть пчелка, что особый ищет мед.
Она как бы не видит греков в фесках,
Ни франтов в ноговицах и черкессках,
Ни с гор сошедших медленных крестьян,
Ни в фазтонах едущих армян,
Ни томных, грустных маклеров одесских, —
Ремесленный, торгующий народ,
Узнавший Красной Армии приход.

14

Южанин до конца самонадеян,
И югом здесь дышало все кругом.
Но что ей говор маленьких кофеен
И шум толпы на берегу морском?
Да и ее в толпе не замечали —
Крестьянскую девчонку в черной шали,
С картонкой довоенною в руке
И в лодочках на низком каблуке.
А путь — он так ей страшен был вначале —
В гостиницу „Ривьера” всем знаком:
В „Ривьере” помещается ревком.

15

Рассказывают — верить ли рассказу, —
Ее увидел Нестор из окна.
Но, может быть, он вышел к ней не сразу,
Как только понял, что пришла она?
В ее глазах прочел он постоянство,
Что было светлым, вольным, как пространство,
И крепче гнева брата, и угроз
Отца, и горьких материнских слез,
И крепостной твердыни мусульманства...
Он понял все, он воздал ей сполна,
Сказал в ревкоме: „Вот моя жена”.

Учитель русского и рисования
 Казался ей предтечею добра.
 Пора любви, пора образования,
 Державности весенняя пора!
 Все созидалось в эти дни впервые:
 И фабрики, и гимны боевые,
 Чека, больница, трактор и букварь —
 Судеб живой и мертвый инвентарь.
 Как часто начинанья роковые,
 Такие безобидные вчера,
 Вдруг обретали ярость топора...

В роскошных галифе, в военных звездах
 Приходит праздник, весело сверкнув.
 Стреляют не в людей, стреляют в воздух:
 У Нестора родился сын Рауф.
 Сидят, блистая в именитом круге,
 Народа общепризнанные слуги,
 Едят, острят и много, долго пьют,
 И должное хозяйке воздают —
 Достойной, верной, любящей супруге.
 Она к ним входит, голову пригнув,
 Еще как следует не отдохнув.

Их дом стоял как башня кондотьера.
 Сбегала полукругом крутизна,
 А впереди — субтропиков Ривьера,
 Пологий спуск, асфальт, голубизна.
 Здесь цветники пестрели, повторяя,
 Средневековую картину рая,
 И водопада мерные струи,

И мебель по рисункам Сарии —
Красавицы и первой дамы края,
С которой — знали все — была дружна
Лукавого Лаврентия жена.

19

Два имени при Сталине звенело:
Лаврентий и Серго. Солдат, нарком,
Серго был сотоварищем картвела
И Ленину он лично был знаком.
Существовал без прошлого Лаврентий.
В черкесску иль во фрак его оденьте, —
От века неизменен он всегда.
Подумав „нет”, с улыбкой скажет: „да”.
Опричника в полуинтеллигенте
Вождь разгадал тотчас же: в чем другом,
А в этом деле был он знатоком.

20

Здесь часто отдыхал в приморской вилле
Отец народов, мудрый корифей.
В приморской вилле Нестора любили
И баловали ласкою своей.
Да, Сталин отдыхал. Многоязыкий
Восточный край приятен был владыке.
Здесь даже иерархия вершин
Была железным следствием причин,
И член ЦК, наполовину дикий,
Казался повелителю милей
Всех громких лидеров тогдашних дней.

21

Еще в Москве есть прежнего отростки,
Ветвистый ствол еще не истреблен.

Сквозь все пенсне поглядывает Троцкий
И недобиткам имя легион.
Зиновьев образован, хоть бездарен,
Надменен Каменев — еврейский барин,
Вертлявый Радек просто надоед,
И Томский что-то не по чину смел,
И ненавистен грамотей Бухарин,
А здесь лишь он один блестящ, умен,
Здесь — миродержец и вожди племен.

22

Под сенью эвкалипта, у залива,
Не здесь ли, как прилежный садовод,
Неторопливо, тихо, терпеливо
Выхаживал он каждый грозный плод?
Не здесь ли, южным осенен покоем,
Он понял: „Ничего мы не устроим,
Пока не будут в пыль превращены
Мешающие жители страны.
Их надо снять и срезать. Слои за слоем.”
Не здесь ли он взлелеял твой приход,
Тридцать седьмой, жестоковыйный год?

23

И двинулась Россия: маловеры;
Комбриги; ротозей; мужики;
Путиловцы; поляки; инженеры;
Дворяне; старые большевики;
Ползучие эмпирики; чекисты;
Раскольники; муллы; эсперантисты;
Двурушники; дашнаки; моряки;
Любовницы; таланты; дураки;
Предельщики; лишенцы; виталисты;
Соседи; ленинградцы; старики;
Студенты; родственники; остряки;

Алашордынцы; нытики — короче,
 Все те, которых жареный петух
 В зад не клевал — на край полярной ночи,
 Туда, где свет, едва взойдя, потух,
 В тайгу, в цынгу, без права переписки.
 Там никому не ставятobeliski,
 Там и без газа человек горел.
 А за расстрелом следовал расстрел,
 От близких отворачивался близкий,
 По капле капал яд, — сочился слух,
 И смрадно гнил, изнемогая, дух.

Лаврентий Нестора спросил с улыбкой:
 „Какое имя, друг, тебе дано?
 Слышал я — не шути с такой ошибкой —
 Что псевдоним ты выбрал в честь Махно.”
 „Мне имя Нестор дали при крещеньи.”
 „Ну, не сердись.” — И словно бы в смущеньи,
 Абхазского он обнял главаря.
 Но понял Нестор: сказано не зря,
 Нет, не случайным было посещение!
 С Лаврентием он враждовал давно.
 Вражда бурлила скрытно, как вино.

Мы грешники от мала до велика.
 А все же мир воздвигся на святом.
 Где ж праведник? Искать его начин-ка, —
 Он среди нас и в нас, мы с ним растем.
 Нередко так же, как и мы, корыстен,
 Он сам себе до боли ненавистен,
 Тщеславен, и коварен, и труслив,

И жалок, и жесток, и похотлив,
Он жаждет вместо горьких, —
ложных истин.
А в чем же, спросишь, святость?
Лишь в одном:
В том идеале, что не гаснет в нем.

27

Случается, что идеал ничтожен,
А сам-то праведник смешон и мал,
Но ты сумел бы вынуть меч из ножен,
Как он пойти на смерть за идеал?
И Нестор тоже грешен был во многом.
Он унижался пред горийским богом,
Он знал, какие хитрости в цене,
Порою шел от правды в стороне,
Порою по кривым ступал дорогам.
Когда же превратился он в кристалл?
Когда он за Абхазию стоял.

28

Он все любил в своем родном народе:
Обычаи, и эпос, и князей,
Которых он оставил на свободе
И как бы превратил в живой музей.
Он выселял абхазов с неохотой,
Кулак уничтожался разве сотый,
И то, коль Нестор к стенке был приперт.
Он был в своей приверженности тверд,
Абхазия была его работой,
В московских наркоматах — понужней
Он для нее выискивал друзей.

Того, кто хочет Сталина постигнуть,
 Одна его причуда удивит:
 Вновь на Кавказе вздумал он воздвигнуть
 Восточную державу-монолит,
 Париж, как говорится, стоит мессы, —
 К чему ж абхазы, разные черкесы?
 И Нестор как-то стал ему не мил.
 А тут еще Лаврентий навредил:
 У Нестора свои, мол, интересы,
 Он в сторону Серго всегда глядит, —
 Его помощник это подтвердит.

Серго же ненавидел всей душою
 Лаврентия: „Муссаватист и вор!
 Шестерка с биографией чужою, —
 Как вождь его не понял до сих пор?
 Развратник и убийца, — на Кавказе
 Он стал источником зловонной грязи,
 Неслыханных предательств и обид.
 Он скоро наши кадры истребит!”
 Так (мысленно) Серго кричал в экстазе,
 А с Нестором, в кругу абхазских гор,
 Был у наркома тихий разговор.

В Москве очередной закончен пленум.
 Серго абхаза к Сталину привел.
 Тот встретил их во френче неизменном,
 Руки не подал. „Разжирел, орел!” —
 Так он Серго приветствовал, не глянув
 На Нестора... На полочках — Плеханов,
 (Тома разрозненные), на стене —

На кнопках — Пушкин, и сосна в окне,
И несколько бутылок и стаканов,
Которыми уставлен белый стол,
И чисто вымыт деревянный пол,

32

И дышит где-то за стеной охрана,
И все же не тускнеет ореол, —
Вождь смотрит остро, огненно и пьяно, —
И жест небрежный: появились, мол,
Так пейте „Двин”, он стоит много денег...
Тут Нестор про Лаврентия: „Изменник,
Себе в республике, вождю во вред,
Он ложный создает авторитет”.
Стакан пригубил вождь: „Кинто, мошенник,
Он сам себя в марксисты произвел!”
Был добродушен смех, а взгляд тяжел.

33

Домой уехал Нестор окрыленный:
Его надежды наконец сбылись!
Он вести, вести ждал определенной, —
Вдруг на бюро он вызван был в Тифлис.
Лаврентий пригласил его на ужин.
Шофер занес „Качича” пару дюжин.
Вернулся Нестор в номер после трех.
Когда же он издал последний вздох?
Он мертвым был в постели обнаружен.
„Стенокардия. Приступ. Сильный криз”, —
На том врачи высокие сошлись.

34

Был с почестями труп его отправлен
В Абхазию. Вскричала Сария:

„Я знаю, ты Лаврентием отравлен,
Мой Нестор, жизнь моя, душа моя!”
Пространный некролог по всем газетам
Прошел в те дни

(в республике с портретом) .

Но из могилы ночью, через год,
Был труп изъят. Сказали: „Так народ
Решил.” Не успокоившись на этом,
Забрали Сарию. Здесь колея
Пройдет ее иного бытия...

35

В Кремле еще не спали на рассвете...
Вдруг, шоферни прервав ого-го-го!,
Раздался выстрел где-то в кабинете.
Убит нарком. Но кто стрелял в него?
Самоубийство? Чертова охрана!
Явился вождь, в сапожках из сафьяна
Ступая тихо, грозно, как судьба.
Чуть шевелилась нижняя губа.
Лежал его товарищ бездыханно.
Смотрел с минуту Сталин на Серго.
„Хана!” — сказал он на своем арго.

36

Но вспомнит ли, когда пред смертью струсит,
Как тот кричал: „Подмышкой удержишь ты
Лаврентия, а он тебя укусит!”?
Немыслимой достигнув высоты,
Поймет ли вдруг, что оказался в яме?
Заплаканными взглянет ли глазами
При имени Серго? Чтоб вечным быть,
Успеет ли Лаврентия убить
И вновь предстать безгрешным перед нами?

Но далеко до роковой черты,
Да и нужна ли вечность для тщеты?

37

А там, в Абхазии, не только море,
И солнце, и курортные дома,
И спирт, и мирт, и флирт. Там есть и горе.
Смотри же, Сария: там есть тюрьма.
Ей тридцать три. Четырнадцатый сыну.
Знавала труд земли, сухую глину
И нищий дом, сплетенный из ветвей,
В Кремле приемы, блеск столичных фей,
И шум пиров, и мягкую перину.
Теперь — тюрьма. Как не сойти с ума?
Она не знает, что идет зима,

38

Что суд идет. Абхазам потрясенным
Становится известно, что в тиши
Интриги Нестор плел. Он был шпионом,
Он резидентом был Кемаль-Паши!
Абхазию хотел отдать он туркам, —
Недаром склонность к башлыкам и буркам
Питал он, — к феодальной старине!
Он эту страсть внушил своей родне
И сослуживцам, — жадным, подлым, юрким,
Разоблаченным ныне. Хороши
Предатели без чести и души!

39

Лаврентий, постановщик тех феерий,
Считал, что все участники важны,
Что малых нет ролей, но в полной мере
Суд завершат свидетельства жены.

А школа постановщика известна.
Психологизм и реализм. Уместно
И правильно воссозданный пейзаж.
Грозили. Били. Следователь наш
Давал удар довольно полновесно.
Держали в блоке. И огорчены
Порой бывали грозные чины.

40

Ну, говори. Ну, говори. Ну, шлюха.
Ну, говори. Ну, сука. Шесть ночей —
Допрос. Над ней начальник, возле уха,
Гремит ключами, словно казначей.
Она упорствует: „Он был кристален,
Абхазию он поднял из развалин,
Он был хорошим мужем и отцом,
Железным, твердым сталинским борцом,
Когда узнает, вас накажет Сталин, —
Лаврентия и прочих палачей!”
Так — шесть ночей. А в связке — шесть ключей.

41

Приводят брата. Он безумен, болен:
„Сестра, признайся, Нестор виноват”.
„Хочу, чтоб старший брат мой был доволен,
Но я не помню: разве ты — мой брат?”
Приводят сына. Он — живая рана:
„Смотри, все зубы выбили мне, нана,
Признайся, и отпустят нас домой!”
„Ты — жизнь моя, Рауф, сыночек мой,
Но разве жизнь творится из обмана?
А зубы... но к чему они? Болят,
Сам знаешь, часто зубы у ребят”.

За волосом выдергивают волос, —
 И вот не стало длинных черных кос.
 „Ну, что там эта падла? Раскололась?”
 „Молчит зараза”. — „Продолжай допрос”.
 Она страшна. Она сходна с совою.
 И окровавленную головою,
 Плешивою, кивает невпопад.
 Какой однако сильный, чудный взгляд,
 Какой горит он верою живою!
 Вопрос. Удар. Вопрос. Удар. Вопрос...
 Кричать — кричу, а не дождетесь слез!

В ее глаза втыкаются булавки, —
 И вот не стало умных карих глаз.
 Но матерьял, как видно, тугоплавкий, —
 Не раскололась и на этот раз.
 Но больше не нужны замки, затворы,
 Не засверкает больше взор, который
 Был чист и жгуч, как разум и любовь.
 Она мертва. Ушла из сердца кровь.
 Она мертва. Что ж вы молчите, горы?
 Ты, в саван облачившийся Кавказ,
 Зачем от мира прячешь свой рассказ?

Военная зима. Москва в осаде.
 Преодолев лефортовский подвал,
 Письмо пришло наверх. Читают: „Дяде
 Лаврентию...”: Рауф в слезах взывал.
 Лаврентий позабыл о нем? Едва ли.
 Рауфа вывели и расстреляли.
 Ему приснилась перед смертью мать:
 „Сынок, ты так не должен был писать.
 Поверь мне, лучше умереть в подвале”.
 А там, в снегах, солдат наш воевал,
 Там начинался новый перевал.

Еще мы были много лет готовы
 Ждать, помнить тех, кто нес тяжелый крест,
 Но возвращаются из ссылки вдовы,
 Уехавшие в возрасте невест.
 Страна присутствует на читках громких.
 Мы узнаем ту правду, что в потемках,
 В застенках, в пепле, в урнах гробовых
 Была жива, росла среди живых,
 И вот в ее словах мы слышим емких,
 На четверть века взятых под арест:
 Теперь им волю дал двадцатый съезд.

Абхазская весна. Свободой вея,
 Шумит Эвксинский Понт, он бьет в набат.
 Снимают изваянья корифея
 И ставят Нестора у входа в сад.
 Пред памятником — старец на скамейке.
 В плаще поверх жилета из цыгейки,
 Он сух и желт, сутул и горбонос.
 Когда-то он производил допрос.
 Ему теперь, конечно, три копейки
 Цена в базарный день, — но тот же взгляд, —
 Знакомый взгляд — что много лет назад,

Когда он Сарие в глаза булавки
 Втыкал. Живет на пенсию теперь.
 Жену похоронил, а дочка — в главке.
 Ее смешно он называет: „дщерь”.
 Он кофе в „Амре” пьет, читает книги
 О Византии, о монгольском иге.
 Играет в нарды. Как его поймешь?

Ведь так на человека он похож!
Но вспомнив исторические сдвиги,
В открытую не вламываясь дверь,
Ты скажешь людям просто: „Это зверь”.

48

Кивнув ему, проходит восьмиклассник,
Сосредоточен, вежлив и упрям,
Весна пред ним шумит, как детский праздник,
Желанный и отцам, и матерям.
А зори все яснее и яснее,
А море все синее и синее,
Оно поет о том, как аргонавт
Плыл к правде средь бушующих неправд,
О здешнем уроженце Прометее,
О будущем, бегущем по волнам, —
Смотри, оно рукою машет нам.

1956-1962

ТЕХНИК-ИНТЕНДАНТ

1

Удивительно белый хлеб в Краснодаре,
Он не только белый, он легкий и свежий!
На колхозном базаре всего так много,
Что тебе ни к чему талоны коменданта:
Адыгейские ряженки и сыры,
Сухофрукты в сапетках, в бутылке вино
Местной давки — дешевое, озорное
И чуть мутное, цвета казачьей сабли.
На столах оцинкованных — светлое сало,
И гусиные потроха, и арбузы,

Что хозяйки зимой замочили к весне,
К нашей первой военной весне.

Ты счастливчик, техник-интендант,

счастливчик!

Впереди, — кто знает, что случится впереди,

Как певал твой отец.

Ты побрился утром

перед зеркальцем в грузовике,

В боковом кармане запыленной венгерки

Куча денег: дивизионный начфин

Выдал за четыре месяца сразу.

Какой же ты ловкий, техник-интендант!

Ты не только ловкий, — ты удачливый, умный,

И ты не убит, и умеешь

обращаться с начальством

И как тебя красит степной,

черно-красный загар!

Пять полуторок ты раздобыл для дивизии,

Раздобыл за три дня, — и неделя в запасе.

Гүлжай!

Документы в порядке, в Краснодаре весна,

Возле мазанки, синей по здешним обычаям,

Где живут какие-то родители Помазана,

Пять полуторок смотрят друг другу в затылок,

И все они новые, и все защитного цвета,

И густо блестят неровно положенной краской,

И вызывают почтение к хозяевам дома.

А старенький ваш грузовик, побуревший от пыли,

Помятый войною осколок степи,

Стоит во дворе под широким каштаном.

На зеленых бушлатах в кузове спят шофера,

Когда возвращаются на рассвете от женщин,

А вы с Помазаном на веранде лежите,
как боги,
На простынях хозяйских.

Ты пьян от вина, от вкусной базарной еды,
От весны, от ожидания чего-то чудесного,
От того, что ты в городе,
где есть вино и бульвары,
Где нет под тобой — седла,
перед тобой — врага,
Над тобой — начальника, нет ковыля
и полыни.

Вот сейчас
Ты задумчиво спрыгнул с открытой площадки
трамвая,

Постоял и от нечего делать,
Вошел в магазин, где на полках — книги,
тетради,
Из оберточной, серой бумаги, линейки,
пеналы.

Грязно-седая, с накрашенными губами
продавщица,
Встречает отказом: — Домино и карты
по заявкам! —

А ты несыто, разочарованно
смотришь на книги,
И остро вдруг вспоминаешь, что ты —
филолог,

И неизвестно зачем покупаешь
польско-русский словарь.

— Вы интересуетесь разговаривать на польском? —
У того, кто спрашивает, нерусский акцент
И пиджак нерусского покроя.
Загорелая лысина круто нисходит на брови,
Тяжелые, черные, как у владык ассирийских.

В запавших глазах —

местечковое пламя смятенья,
Горбатый нос облупился, щеки небриты,
Он обдает тебя смешанным запахом кожи,
Конского пота, вина, чеснока и навоза.

Ты выходишь на улицу

вместе с новым знакомым.

В Польше он был адвокатом,

теперь он сторож

В пригородном совхозе, вон там, за рекою.

Он так тебе рад!

Он учился в Варшаве и в Вене,
Был коммунистом, был в Поалей-Ционе,
Теперь увлечен толстовством.

Жестикуюя, самозабвенно картавя,
(Давно ты заметил,

что каждый картавит по-своему),

Путая все диалекты, в ухо кричит имена —
Каутский, Ганди, Бем-Баверк, и Фрейд,
и Бергсон.

Подозрительно откровенный,

Он потрясен алогизмом чужого режима,

Жестоким его палаческим простодушьем.

В нашем воистину сильном, державном вожде

Странны черты вождя негритянского племени:

Слабость, свирепость, боязнь,

жадность и лживость актера.

Странно и то, что государство, ликуя,

Провозглашает своего человека

Доблестным, добрым, умным, сильным, красивым,

А между тем в учреждениях Государства,

Даже таких безобидных, как парк культуры,

Продовольственный магазин или почта,

Смотрят на вас как на вора и дурачка

С тысячью мелких пороков...

Ящерицы и цикады, листья и птицы,
И говорят, говорят о войне людей,
Но сами люди молчат, люди — и лошади.
Где-то вдали мелькают какие-то пули, —
Иль то огоньки цыгарок? Падучие звезды?
Конников скудную горсть возглавляет

калмык —

Толстый от старости кривоногий полковник
С глиняным гладким лицом,
Добрый вояка, герой гражданской войны.
Все ему надоело: безостановочный драп,
Ночи без сна, невозможность сойтись в
рукопашной
С колдовским могуществом немцев, длинная
служба
С медленным ядом обид, и Курц, комиссар,
Эрудированный товарищ, но жуткий стукач...

— Пан офицер! Панове! Куда вы! Тут немцы! —
Кричит верховой, внезапно возникший из

тьмы

И лунным серпом отрезанный от нее.
Он босиком, в ватных штанах и в майке,
Лошадь под ним без седла, в руке — ремешок.
В мире, где головы
Прикрыты военной мощью пропотевших пилотов,
Лысина его — как обнаженное бессилье.
„Пан офицер!“ — передразнивает полковник,
И голос его обретает хриплую власть.
— Рубайте его, это немец! — Полковник не
знает,
Что снова чумным дыханьем тотального вихря
Подхватило твоего знакомого из Краснодара
Вместе с его совхозом, с его смятением,
Но многоопытный Курц разобрался, к счастью,

И чуточку нервно шутит: — Если бы немцы
были такими!
Это же наш, бердичевский! —

Скоро ль конец?
Долго ли будет метаться в южной степи
С овцами-рамбулье адвокат из Варшавы?
Схватят его, превратят в золу?
Или ему иная назначена гибель?
Конников горстка встретится ль с горсткой
другой?
Старый калмык, полковник с глиняным ликом
божка,
Чертветь столетья прослуживший в строю,
Бывший фельдфебелем еще при Керенском, —
Что он, полковник, смыслит в этой войне?
Будет он храбро, хитро, умело сражаться
И непременно вырвется из окруженья,
Но для чего?
Чтобы в ночь под новый сорок четвертый год
Весь его древний народ выселен был из
степи?
Техник-интендант, ах, техник-интендант,
Ничего-то еще ты не понял, ничего ты в мире
не видел,
Кроме себя самого!

2

Ты садишься на скамейке в тенистом сквере —
И весьма неудачно: по этой аллее
Все время выходят из штаба фронта
Большие начальники, а у них за спиной —
Позорное, быстрое бегство из Крыма,
Поэтому они особенно жизнелюбивы,
Щеголеваты и деловито-важны.

К тому же тебя немного смущают
Увенчанные шестимесячной завивкой
Разбитные сержанты-девахи в платьях,
Сшитых в генеральских пошивочных.

— Здорово, техник-интендант, загораешь?
До вас обращаюсь, братья и сестры мои! —
Ты поднимаешь голову и видишь Заднепрука —
Сорокалетнего старшего лейтенанта,
Который в твоей кавалерийской дивизии
Давно болтается без назначения.
Коричневые щеки, живые, острые глазки,
Вывороченная, от старого раненья, верхняя
губа,
Жесткие, под бобрик стриженные волосы,
Посыпанные серой солью соликамского
лагеря,
Плечи — как печь, облитые голубой венгеркой,
На колоколе-груди — единственная награда:
Новенькая медаль „XX лет РККА”.

— Здесь, в городе, одна работа:
Укладка дыма, трамбовка воздуха.
Ты в командировке? Само собой! —
Отвечает он за тебя и садится рядом.
Слова из его изуродованного рта
Выскакивают, как пули, с присвистом резким.
— Был я на парткомиссии фронта, —
Восстановили. Честь и совесть эпохи.
Думаешь, просто? С главным добился беседы,
Он меня сразу вспомнил, по Первой Конной.
„Сам, говорит, ожидал, что башку мне снимут
Или отправят в последний рейд, как тебя,
Чистить подковы медведям.
Сталин великий, бывало, покличет меня и Оку, —
Учти-маршала и генерал-полковника, —
Мы перед ним вдвоем поем и танцуем:

Хоть не артисты, а все же верные люди,
Но в голове, понимаешь, другие танцы...
Баба есть? Ничего, заведешь медицинскую.
Ты поезжай, получишь майора и полк!"

Ехать-то надо, но пару деньков отдохну:
Личной жизни совершенно не имею.
Слушай, дай мне пятьсот рублей!

И вы расстаетесь, еще не зная,
Что будете скоро нужны друг другу,
И ты,
счастливый блаженным счастьем безделья
И чувством,
что всю неделю никому не подвластен,
Спускаешься по улице, вечерней, весенней,
Безо всякой цели, мимо лодочной станции,
К печально ревушей Кубани.
Кажется, будто под нею кузнечный горн,
Так шумно она бурлит.
Кажется, будто вся земля — ее кровник,
Так она грозно и яростно рвется на берег.
Ты смотришь с обрыва, —
и река тебя кружит, как время,
А время бежит, как бешеная река,
Не поймешь по верховьям, каковы низины.
Ты еще здесь, где весна,
а время твое — впереди,
Время твое в степи, в июльской степи,
Окруженной врагом.

3

Что же ты видишь на дне времени —
бурной реки?
Что же ты видишь из щелей НП,
Куда ты направлен начальником штаба?
Займище, донские луга,

Лес на бугре, полосу воды,
Из которой, как пьяные, вылезают деревья,
А рядом с ними — трехмесячный жеребенок
Выходит, будто на цыпочках,
Прижимая мордочку к бабкам...

В окопе, к сыпучей стене,
Приколот бурьяном свежий лозунг:
„Немец не пройдет через Дон!”
На другом берегу с утра взрываются бомбы,
А по ночам вспыхивают ракеты.
Черные от пыли худые люди
Трудно идут, будто работают,
За плечами скарб: шахтеры из города Шахты.
У переправы — столпотворенье,
Великое переселение жителей,
Великая перекочевка скота,
Великий драп вооруженных военных.
Все хотят попасть на паром,
Который в руках нашей скромной дивизии,
Все бегут.

Какой-то лейтенант забрел в сарай
И начал стрелять из парабеллума в воздух.
Проверили документы — все в порядке,
Он помпотех артдивизиона,
Он потерял свою часть.
Говорит, застенчиво улыбаясь:
— Иду из Миллерово на Сталинград.
— Почему стреляли? — Та-ак!

Утро, донское рассеянное утро.
Ветер с востока, из калмыцкой степи,
Веет песком — зыбучим жильем ковыля,
Горько-соленой землей, зноем,
 древностью жизни,
Теплым кизячным дымом, кумысным хмелем.

Слышится в нем и рев скота четырех родов,
И голоса набегов, кочевий, становий.

А западный ветер

Нежен и мягок, он летит из большого мира
Изнеженного услугами цивилизации,
Он обрывается торопливо и больно,
Словно свисток маневренного паровоза.

Техник-интендант, ах, техник-интендант,
Знаешь ли ты теперь, как начинается
Кавалерийской дивизии дикое бегство?
На берегу, в вишневых садах, стреляют,
В штабе, в политотделе, как в сельсовете,
Сонно звенят, не веря в себя, телефоны.
Лошади у коновязи казачьей
С доброй насмешкой смотрят в раскрытые
окна

На писарей, на развешанные листы
Нашей наглядной агитации...
Рано смеетесь, военные кони,
рано смеетесь!

Тихо и пыльно, и дня долгота горяча.
Вот командир химического эскадрона
Самостоятельно учится конному делу.
Озабоченно бредет редактор газеты:
Ему обещаны хромовые сапоги.
Машина редакции, крытая черным
брезентом,
Стоит на границе хутора и степи,
В самом тылу сражающейся дивизии,
А степь, животно живущая степь,
Выгорающей травой, окаменевшими лужами,
Казачками, с виду так безмятежно
Стирающими в реке срамное белье, —
А эта река и есть передовая, —

Степь вливается в небо, как в тело душа:
Грубость жизни и прелесть жизни.

— Танки! Танки! Мы в окружении! —
Кричит, ниоткуда возникнув, конник
И пропадает.
И там, на востоке, где степь
 вливается в небо,
Неожиданно, как в открытом море
 подводные лодки,
Появляются темные, почти недвижные чудища.
И тогда срывается с места, бежит земля,
И то, что было ее составными частями, —
Дома, сараи, посевы, луга, сады, —
Сливаются в единое, вращающееся целое,
И дивизия тоже бежит, срывается с места,
Но то, что казалось единым целым,
То, что существовало, подчиняясь законам,
Как бы похожим на закон всемирного
 тяготения, —
Распадается на составные части.
Нет эскадронов, полков, штабов,
 командных пунктов,
Нет командиров, нет комиссаров,
 нет Государства,
Исчезает солдат и рождается житель,
И житель бежит, чтобы жить.

И самый жестокий, находчивый,
 смелый начальник
Уже не способен остановить бегущих,
Потому что в это мгновение, полное ужаса,
И какой-то хитро-безумной надежды,
Уже не солдаты скачут верхом, а жители.

Хотя у него неуклюжей формы
Противотанковое ружье.
Он стреляет в бортовую часть бронемашин.
Ему стыдно за нас, за себя, за свое племя,
За то материнское молоко,
Которое он пил из потной груди,
Он хочет верить, что поднимет бойцов,
Но все бегут, бегут.
И только ты, как зачарованный смотришь,

ты видишь:

Голова Цюрбеева в желтой пилотке
Отскакивает от черной бурки,
Лошадь вздрагивает, а бурка
Еще продолжает сидеть в седле...

Время! Что ты есть — мгновение или вечность?
Племя! Что ты есть — целое или часть?
Грамотная его сестра в это утро
Читает отцу в улусной кибитке
Полученный от Церена треугольник.
Безнадежно-больной чабан с выщипанной
бородкой

Кивает в лад
Учтиво, хорошо составленным словам сына,
А голова сына катится по донской траве.
Настанет ночь под новый,
сорок четвертый год.

Его сестру, и весь улус,
и все калмыцкое племя

Увезут на машинах,
а потом в теплушках в Сибирь.

Но разве может жить без него степная трава,
Но разве может жить на земле человечество,
Если оно не досчитается хотя бы одного,
Даже самого малого племени?

Но что ты об этом знаешь, техник-интендант?
Ты недвижим, а время уносит тебя, как река.

Ты останешься жить, ты будешь стоять,
Не так, как теперь, в безумии бегства,
А в напряженном, деловом ожидании,
Сырым, грязным, зимним утром
На сгоревшей станции под Сталинградом.
Ты увидишь непонятный состав, конвойных.
Из узкого, тюремного окна теплушки,
Остановившейся против крана с кипятком,
На тебя посмотрят косога разреза глаза,
Цвета подточенной напильником стали.
Таковыми глазами смотрят породистые кони,
Когда их в трехтонках, за ненадобностью,
Увозят на мясокомбинат,
Таковыми глазами смотрит сама печаль земли,
Бесконечная, как время,
Или как степь.

Быть может, это смотрит сестра Церена,
Образованная Нина Цюрбеева,
Всегда аккуратная учительница,
Такая длиннокося и такая тоненькая,
С твердыми понятиями о любви,
О синтаксисе, о культурности.
В ее чемодане, —
А им разрешили взять
По одному чемодану на человека, —
Справка о героической звезде
Посмертно награжденного брата,
Книга народного, буддийского эпоса,
Иллюстрированная знаменитым русским
художником,
Кое-что из белья и одежды,
Пачка плиточного чая
И ни кусочка хлеба,
чтобы обмануть голодный желудок,
Ни травинки, ни суслива,

А бывало,
Покойные родители
и суслика бросали в казан.
В той же самой теплушке —
Круглая, крепкая, с налитыми ягодицами —
Золотозубая Тегряш Бимбаева,
Еще недавно видный профсоюзный деятель,
Мать четырех детей и жена предателя,
Полиция, удравшего вместе с немцами.
Она-то понимала, что ее непременно вышлют,
Она-то к этому заранее подготовилась,
В ее пяти чемоданах
полно союзнических консервов,
Есть колбаса, есть концентраты.
От всего сердца
Она предлагает одну банку своей подруге,
Она предлагает одну банку сестре героя,
Но та не берет.
— Бери! Бери! — кричат старухи, —
Мы же одного племени, одной крови! —
Но та не берет.
— Бери! Бери! — кричат плоскогрудые
молодые женщины, —
Разве она отвечает за мужа?

Что же ты стоишь, техник-интендант?
(Впрочем, ты уже будешь тогда капитаном).
Видишь ты эту теплушку?
Слышишь ты эти крики?
Останови состав с высланным племенем:
Поголовная смерть одного,
даже малого племени,
Есть бесславный конец всего человечества!
Останови состав, останови!
Иначе — ты виноват, ты, ты, ты виноват!

— Але! Ты сказался? Хочешь к немцу попасть?
Только тебя он и ждал!
А ну, залезай в машину, вот в эту! —
С присвистом, сверху, с коня,
Среди вращающейся травы
и всеобщего бегства,
Приказывает тебе майор Заднепрук,
Чей полк рассыпался, как песок,
Степной песок.
И вот уже ты в машине редакции
И стукаешься козырьком
о рычаг „американки”.
Наборщики, пожилые солдаты,
Придерживают подпрыгивающие в кассе буквы.
Оказывается, водитель машины — Помазан.
Машина тоже пускается в бегство,
И в оконце, прорезанном в черном брезенте,
На мгновение возникает скачущий Заднепрук,
По-командирски размахивающий
свободной рукою,
А в ложбинке под красноталом —
Безропотно заснувший последним сном
Трехмесячный жеребенок: наверно, тот самый,
Что на заре выходил на цыпочках из Дона.

5

Помазан об этом еще ничего не знает.
Он еще с тобою в командировке,
Он еще рядом храпит на веранде,
В доме у каких-то своих родичей,
Еще, как уголь, черна весенняя ночь,
Еще ты усмехаешься,
Вспоминая, как давеча сказал Заднепрук:
„Личной жизни совершенно не имею”,
Еще ты надеешься
На приятное приключение в Краснодаре,

А перед тобой уже начинает светиться
Измученное, молодое лицо,
Ставшее прекрасным от боли разлуки,
Запретные слезы в длинных глазах,
Волосы до плеч, дрожащие руки,
И глупые, вечные слова...

Это было в конце обманного марта,
Когда в тяжелом от влаги и холода воздухе
Внезапно рождаются дуновенья
Отчаянного, по-молодому резкого тепла,
Когда в широких, как озера, лужах
Отражаются, подобно майе индусов,
Призрачные небесные чертоги,
Сработанные из червонного золота
степных марев.

Только что заново сформировавшись
После одного из зимних рейдов, —
У конников, как известно,
 мотыльковая жизнь, —
Ваша дивизия,
Чем-то напоминая племя в пору перекочевки,
Снова двинулась всем хозяйством
Поближе к огню войны.

Ты с квартирьерами был отправлен вперед.
 В станице, где приказано было отдохнуть
 Людскому и конному составу,
 (А сколько дней —
 об этом знало начальство),
 Как всегда умело были выбраны дома:
 В школе разместили штаб и политотдел,
 Дом директора школы,
 Женщины содержательной, чистоплотной,
 В очах и серьгах с подвесками,
 Предназначен был комиссару Курцу,
 Дом председателя колхоза, уютный дом,

Вы запали мне в сердце”,
Или говорила о муже-механике,
От которого давно не было писем из армии:
„Он статный, здоровый и, когда трезвый,
так сносный,
Только перед вами двумя я виноватая,
Перед ним и перед тобой”, —
Ты хотел ее презирать и не мог,
Потому что к тебе,
глупому техник-интенданту,
Пришла, — да что там пришла! —
снизошла любовь.

И когда, в конце недели,
Вы покидали эту степную станицу,
И ты уже сидел перед ее домом верхом,
А она, не стыдясь соседок и военных,
Что-то кричала, как потерянная,
И то гладила, то целовала твою руку,
Неумело державшую плетеный чембур,
А ее Сашутка почему-то угрюмо плакал, —
С каким облегчением ты уезжал оттуда!

6

Но постепенно эта беспечная легкость
В твоей душе
Сделалась тяжестью, и светлой, и нищей.
Помнишь девятое утро вашего бегства?
Огненно-красный туман вставал над прудом,
И вы, притихнув, на него смотрели
Из погреба разрушенного дома.
„Выходом ” в этих краях называется погреб,
Но вы не видели выхода.
Еще вчера вас было полтысячи, что ли,
А в это утро осталось двадцать четыре...

Недалеко от станции Палагиада
Вам, вчера пятистам, преградил дорогу
Заградотряд: наконец-то какая-то власть!
„Хватит драпать, пора занять оборону!” —
И зачитали вам Сталина новый приказ:
Кругом казачья Вандея,
Идейно зараженная местность,
Деморализация армий Южного фронта,
Нужны суровые меры, штрафные роты,
Поведение ваше можно искупить только кровью...

Полковник, даже в беде не похудевший,
Присободрился: „Займем оборону”.
Мгновенный бой, —
 „кулаками против танков”, —
Как выразился редактор (вчера он погиб), —
И снова развеяло вас в разные стороны,
А к вам занесло двоих из Заградотряда, —
Вместе, значит, вам драпать, —
И вы повторяете снова: — Где эскадроны?
Где полковник? Где комиссар? Где штаб?
Где ваши кони, тачанки, грузовики?
Как оказались вы в этом погребе —
Восемнадцать бойцов, три сержанта
 и три офицера:
Ты, майор Заднепрук и капитан Обносов —
Не призрак ли? — со своим драгоценным
 сейфом...

Смутно вспоминался вчерашний бой, —
Смутно, потому что нельзя было понять:
Что же вы обороняли, заняв оборону,
Если немцы — слева и справа,
 позади и впереди?
Все вы легли в чужие, свежие окопы, —
И строевые, и шоферня, и штабные, —
Все по команде стреляли,

Все, кроме Обносова и его коновода,
Сидевших в тачанке в дальней лошине
И оберегавших сейф.
И, как нельзя было понять,
Для чего взлетел на воздух красавец-дуб,
На котором висели провода,
Так нельзя было понять,
В какую сторону вам нужно идти сейчас,
Еще вчера вы были бегущей, но военной частью,
А теперь вы стали частью ветра и пыли.

Но пусть вам чудится, что за прудом
Команда ведется уже не по-русски, —
Здесь, около вас,
По-прежнему по-русски разговаривают хлеба,
Умоляя о жатве,
По-прежнему, как в русской деревенской кузне,
Темно, и дымно, и красно в закатном небе.
И вы дождались ночи и пошли,
И пошли правильно: к своим.
Но почему же ты начал искать своих
Только с того дня,
Как вторглись в страну чужие?

Так непомерна была захваченная земля,
Что в первые дни разгрома
Не хватало на нее немецких солдат,
И были станицы, хутора без властей.
В самом деле, чудо из чудес:
Земля без властей, поля без властей,
Без немецких и наших,
Население без властей,
Ночи — пусть две или три — без властей,
А по утрам, просыпаясь,
Листья, казалось, трепетали в росе:
„Нет властей! Нет властей!”

Вы спите только днем —
 в сарае, в хлеву, в кукурузе.
А вечером один из вас
Вынужден спрашивать у станичника:
— Наши давно ушли?
— А кто это ваши?
— Красная армия.
— Так то не наши, а ваши.
Тогда, поумнев, уточняете по-иному:
— Наши — это русские.
— Так то не наши.
— А вы разве не русские?
— Не. Мы казаки. А, скажите, товарищ, —
(А губы язвят, а в глазах —
 все, что зовется жизнью), —
Может, вы из жидов?
И вот что странно: именно тогда,
Когда ты увидел эту землю без власти,
Именно тогда,
Когда ты ее видел только по ночам,
Только по беззвездным, страшным,
 первобытным ночам,
Именно тогда,
Когда многолетняя покорность людей
Грозно сменилась темной враждебностью, —
Именно тогда ты впервые почувствовал,
Что эта земля — Россия,
И что ты — Россия,
И что ты без России — ничто,
И какое-то безумное, хмельное,
 обреченное на гибель,
Обрученное со смертью счастье свободы
Проникало в твое существо,
Становилось твоим существом,
И тебе хотелось от этого нового счастья
 плакать,

И целовать неласковую казачью землю, —
А уж до чего она была к нам неласкова!

7

— Есть информация, товарищи командиры, —
Сказал Обносков тебе и Заднепруку,
А дело было в шалашике, и перед вами
Уже не донская текла, а моздокская степь,
И Заднепрук не мог бы ответить,
Для чего это он бережет ненужную, донскую,
Исчерпанную вашим бегством семиверстку.
— Есть информация, товарищи командиры:
Помазан вчера сжег свой партийный билет.
Это видел собственными глазами
Сержант Ларичев из 313-го,
Наблюдавший за ним по моему указанию:
Был сигнал.
Предлагаю: ночью созвать отряд,
Вам, товарищ майор, осветить обстановку,
И расстрелять Помазана перед строем. —

— Слушай, Обносков, —
 лениво сказал Заднепрук,
С присвистом воздвигая в три яруса брань, —
Потом разберемся. Дай, выйдем к своим.
Надоел, ты, Обносков. Надоел.

Ей-богу, надоел.

А нужен ты армии, чего скрывать,
Как седлу переменный ток. —

— Что вы такое говорите, —
вскричал Обносков

И онемел, и лишь губы дрожали
И оживали бледно-голубые глаза —
Кукольные стекляшки базарной выделки,
И его широкое, белое, как тесто, лицо

Впервые, — или тебе так показалось? —
Исказилось разумной, человеческой болью.
— Седлу — переменный ток... Что вы без меня?
Труссы, изменники Родины, дезертиры.
А вы, наш командир? „За недостатком улики”, —
А все же была пятьдесят восьмая статья,
Пункт одиннадцать, кажется?
Окружение? Не случайно!
А в моем-то сейфе — знамя дивизии,
Круглая печать, товарищ майор.
Со мной вы кто? Военная часть.
А кто без меня? Горько слушать,
Не заслужил, товарищ майор.
Говорю вам не как командиру отряда,
А как коммунист коммунисту.

— Не паникуй, Обносов, — сказал Заднепрук, —
Сказал негромко, миролюбиво,
Но ты заметил, что и его можно смутить.
— Политически я отстал за четыре года,
Да и частота речи у меня слаба.
Не расстраивайся, Помазана расстреляем.
А когда Обносов покинул шалашик,
В котором вы прятались от чужеземцев,
Острыми глазками впился в тебя Заднепрук:
— Слушай, тебе Помазан — дружок?
Вроде, вы ездили вместе в тот, в Краснодар?
Ты с ним потолкуй, понял?

И ты потолковал с Помазаном.
Ты ему все рассказал и сказал: — Беги.
Грязные, обовшивевшие,
Вы лежали рядом в зеленой кукурузе,
Поднявшей над вами листья-булаты.
Сверху припекало раннее солнце,
А голодному брюху было мокро от земли.
И ты узнал,

Что Помазан — не Помазан, а Терешко.
Что их семья — семиреченские хохлы,
Что отец у них был экономически сильный,
Вот и выслали их в тридцатом году,
Как класс,
И поселили на конечной станции
Однотрассовой степной ветки,
На станции Дивное, — не знаешь?
Отсюда недалеко.
В этих безводных, суховейных местах
Так были названы все населенные пункты:
Дивное, Приятное, Изобильное, —
И повсюду комендатура.

Из Петровского один раз в день
Поезд подкатывался к платформе,
Как змея к воротам концентрационного рая,
Но с добрым шипением пара.
И все, —
А между ними и он, тринадцатилетний, —
С запаршившей головой и выпученным
животом, —

Кто с какою посудой
Бежали к паровозу, к вагонам,
чтобы набрать воды,
А из самого хорошего вагона
Капала самая плохая вода,
Но пили и ту, сортирную воду.
Умерли мать, и братик, и две сестры.
И так же, как ты сейчас Помазану,
Отец сказал ему: — Беги,
Беги, сынок, пока не подох.
И он убежал, убежал далеко.
А когда овладел профессией,
И зарегистрировался с одной официанткой,
И принял ее фамилию,
И бросил, конечно, жену, —

Он подался ближе к степным местам,
Устроился шофером в Сарепте,
Давил газ.
Там его и в партию приняли:
Шутка ли, непьющий шофер!
А к тому же — безответный, старательный,
Техническая голова,
А если и делал левые ездки,
То делился с диспетчером без скандалов,
По-хозяйственному...

А когда уже из дивизии,
Отправили вас за машинами в Краснодар,
Он привел тебя и дружков-водителей,
Не куда-нибудь, а в дом своего отца,
Женатого теперь на худой, высокой баптистке,
Тихой, как тень,
Тоже когда-то высланной, тоже из Дивного.
И новые дети родились у отца,
В новом, чужом для Помазана доме,
И отец работает кладовщиком
На складе торга, — соображаешь?
И опять он экономически сильный.
Но ты не видел, когда спал на веранде,
Как ночью он будил Помазана,
Седой, но все еще, как парубок, чернобровый,
Ставил на стол четверть первача
И пьяный, — сын-то не пил, —
просил и плакал шепотом:
— Пей, сыночек мой Степа,
Приехал все-таки к старому батьке в гости, —
А Степой звали того, умершего братика.

... Вечером случилось вот что:
Один из бойцов подполз к кошаре,
(А ползал, черт, с километр, не меньше!),
И выкрал овцу.

Да какое — выкрал, кто их теперь стерег!
Вы обрадовались — и была не была —
Разожгли небольшой костер.
Как хорошо было свежее мясо
Заедать арбузом, сорванным на бахче!
Во время этого пира
Ты шепнул Заднепруку: — Порядок,
А Заднепрук тебе сказал: — Дурак,
И кончиком сабли
Поднес ко рту кусок мяса,
И ты понял, что Обносов за тобою следит.

Ночью вы пошли на восток.
А где он, восток, в ночной степи,
На плоской окраине материка,
Куда нахлынули тьмы тем
Чужих солдат и своих бед, —
Об этом знал один Заднепрук.
Издалека долетал собачий лай
И казался не очень опасным.
Из более далекого далека долетали
Повелительные наклонения немецких глаголов,
И это казалось вам более опасным.
Но самым опасным было то,
Что двигалось близко, рядом с вами,
Вокруг вас и внутри вас,
И две опасности,
Далекая и самая близкая,
Сливались и становились страхом.

Вы шли, узнавая друг друга по дыханью.
Сержант Ларичев и коновод Обносова,
Меняясь, несли сейф на своих плечах,
То и дело останавливаясь
И озираясь в недружелюбной тьме.
Огромная ночь, смежив усталые веки,
Бормотала о чем-то в больном сне

Можно выдать себя за армянина, —
Ты похож, немцы поверят, —
А она не продаст, спрячет,
Она тебя любит, не сомневайся, любит...

А ночью ты поднялся, и все поднялись, —
Тот без ремня, тот без сапог,
но все с оружием, —
И опять вы пошли на восток.
Иногда вым встречался такой же, как вы,
Одиноким окруженный солдат,
Все выцвело у него: глаза,
Волосы, гимнастерка, гвардейский значок.
— Где наши? Может, слышал?
— В Казахстане. А то и подальше.
— Где немцы? Дошли докуда?
— До Тифлисской: царя привезли грузинам.
— А ты куда?
— На передовую: жену гладить.
— Ну и катись... А с нами пойдешь?
— Пойду, если принимаете.

8

Песок, песок.
Кто сказал, что время течет, как вода?
Время течет, как песок,
И песок душит
Редкие кусты таволжника,
Запах полыни,
Упрямые корешки лебеды,
Стеклянные осколки соленых озерков.
А порою, как и время,
Песок становится скоморохом:
То он бежит волной,
Подражая воде в реке,
То притворяется ржаной мукою,

То он шумит, как вода под ветром,
То возникают, занимая полнеба,
Многобашенные города
С розовыми зданьями и лазоревыми
 куполами,
Но все это призраки, марева, обманы,
Песок, песок.

Иногда мерещится тебе:
По выжженной солнцем сухой равнине
Скачет беглец-раб,
Угнавший коня из становья.
Он хочет пить, пить,
Но кругом степь, степь,
Безлюдная, безводная степь.
Тогда беглец-раб
Протыкает жилу своего коня
И, вставив тонкий стебель камыша,
Высасывает густую, теплую кровь.
Но разве жажда утоляется кровью?
И вот умирают и конь, и всадник,
И мертвых заносит степной песок,
Песок, песок.

То померещится тебе:
Говорит песчинка другой песчинке:
„Мы одной крови — я и ты,
А все иное — не я и не ты,
Не нашей крови,
Задушим проточную воду,
Задушим все, растущее на земле,
Задушим грядущее на земле,
Пусть останется только то,
Что я и ты, —
Песок, песок!”

Но вы идете по земле,
Потому что вы — начало грядущего, —
А грядущее это и есть возмездие, —
Потому человек равен человеку,
И никто другой ему не равен,
Потому что любовь рождается даже из зла,
А вы, люди — дети любви,
И вот вы идете к людям,
Не потому, что вы одной крови,
А потому, что вы одной любви.

Вам кажется, будто
День сливается с днем,
А на самом деле
День сменяется днем,
Новым днем, тем самым,
Который для вас разгорится в Германии,
И ты еще вместе с Заднепруком проскачешь
По разрушенному асфальту узких улиц,
Мимо загаженных церковных ступеней,
Между домами с островерхими крышами,
Там, где даже деревьям, воздуху,
бензоколонкам
Придется доказывать на суде —
Не на людском суде, а на Страшном —
Свою непричастность к убийству...

Песок, песок.
Песок на гончарном круге солнца,
Песок на мимолетной, зыбкой тени
Пугливо бегущих сайгаков,
Песок на колючей и лопухой траве,
Во рту песок.

Миновали донскую степь,
И ставропольскую, и моздокскую миновали,
А вот и Терек, и в Моздоке —

советская власть.

Так вы и пришли к своим, к России,
И Россия теперь проверит: кто вы?
Изменники Родины? Агенты? Труссы?
Новая жизнь — новый страх.

На проверку отправили всех на машине
В штаб Северо-Кавказского военного
округа.

Прибыли. Вызвали вас, командиров, двоих.
Ларичев, миловидный, услужливый,
рано полысевший,

(Он, если выживет, и потолстеет рано),
Пытался долго и вкрадчиво
Отправиться на комиссию вместе с вами,
Но вы пошли вдвоем: Заднепрук и ты.
А комиссия по проверке работала
В здании железнодорожной школы
На окраине республиканской столицы.
Вы спускаетесь по горбатым улицам.
Терек шумит рядом.

Но разве так шумит, как при Лермонтове
Или при скифах, аланах?
Река шумит шумом нашего дня,
Нашего сердца...

Все удивительно:

Афиши, возвещающие встречу
с московским артистом

Или доклад лектора обкома:
„Грюнвальд и славянское единство”;
Автобусы с населением;
Пучеглазая толстуха: чистка обуви;

Нарядно одетые военные
 в кителях из рогожки,
А рядовые — в войлочных шляпах;
Долговязый старик-осетин,
Читающий, с откинутой головой,
 газету-витрину;
Винницы, где свободно, за деньги,
Отпускают вино.

— Выпьем для храбрости? —
Предлагаешь ты Заднепруку,
Не столько потому, что хочешь выпить,
Сколько потому, что приятно почувствовать
После трудных, страшных странствий
В окруженной, ночной, первобытной степи,
Как возвращается сила к денежным знакам.
— Не теперь, — отвечает Заднепрук,
Как брат, обнимая тебя
 и шуря острые глазки, —
Я, как выпью, теряю ум,
И тогда у меня душа — вот,
(Он показывает, как раскрывается у него
 душа)
А нам с тобой зараз нужно душу на крючки,
По-умному надо.

Перед нами возникает широкий, пыльный,
Видимо, забытый рельсовый путь,
И тебе кажется, что вдали ты видишь
Поднимающегося в город сержанта Ларичева.
Ты говоришь об этом Заднепруку:
— И адрес школы, сволочь, узнал,
Уже там побывал, накапал, —
А Заднепрук: — Ты обознался.
И, подумав, добавляет: — Он жить хочет.
Ты хорошо понимаешь, что означают
эти три слова,

Когда их произносит Заднепрук,
И внимательно смотришь
на товарища по окружению,
А он — чистым и прямым взглядом —
на тебя.

Минут через десять вы сворачиваете,
Мимо домиков, крытых камышом, за угол,
И сразу становится ясно,
Что пришли туда, куда надо было прийти:
К своим.
На просторном дворе
железнодорожной школы,
Прямо на земле,
Где растет между острыми камешками
Отгоревшая, кое-где жгучая травка,
Сидят военачальники:
Командующие, потерявшие свои армии,
Командиры без корпусов и дивизий.
Они ждут вызова: проверка!

Одни беседуют, пугают друг друга:
— Петунина, Васятку, помнишь?
С луны свалился, какого Петунина!
Василия Карповича, генерал-лейтенанта!
Так ему дали штрафную роту, звание — капитан...
У других, молчаливых, тут же, на камешках —
Четвертинка, соль в тряпке, помидоры, хлеб,
Самодельный солдатский ножик...

Морячок-кавторанг почему-то в кепке,
Какие бывают у продавцов лаврового листа.
С ним вяло разговаривает некто в синих штанах
С красными генеральскими лампасами
И в украинской, очень грязной,
но когда-то ярко,
По-гуцульски вышитой рубахе.

Кое-где видны и раненые.
Август.
Кавказское солнце еще раз касается
кистью
Вашего донского, степного загара.

— А, Заднепрук, и ты, Брут?
Кто же натрепался, что ты сидишь?
Ты не сидишь, а бежишь! —
Зычно кричит танкист
в генеральской форме,
Как видно, с чужого плеча,
И с плеча, вдобавок, жирного,
а этот — худ.
Раздобыл он и свои заслуги,
Выставил в два ряда.
Он целует, с большим чувством,
Заднепрука:
Вместе, наверно, служили в Первой Конной.
Заднепрук доволен, он представляет тебя
генералу.
Тот запросто, как равному,
пожимает тебе руку,
Называет свою фамилию,
Ныне такую громкую...

На ступеньках здания школы
Появляется старший лейтенант со списком.
Все замолкают.
Он среднего роста, этот старший лейтенант,
Он еще не знает, что такое война,
Кавказский человек, тонкий в талии.
На нем неслыханной белизны китель,
Высокие, может, шевровые, сапоги,
Блестящие, как восточная сказка.
У него маленькие, с наперсток, сочные губы,
Прежде, чем выкрикнуть слово,
Он держит их несколько мгновений раскрытыми,
И у каждого замирает душа:

— Гвардии инженер-полковник Дидык!
Приготовиться генерал-майору Жорникову! —
У него произношение такое же,
Как у нашего вождя,
Когда тот говорил нам: — К вам обращаюсь,
Братья и сестры мои!

И вот, без фуражки, в солдатских обмотках,
Жалко поднимается по деревянным ступенькам
Высокий, наскоро — с порезами —
 побритый Дидык,
И кавказский человек, старший лейтенант,
Смотрит на него с брезгливым состраданием.
А где-то во дворе уже готовится Жорников
Ответить за дивизию, потерянную, как иголка,
В сальских стогах,
А там настанет очередь Заднепрука
И, значит, твоя.

Но ты об этом еще ничего не знаешь,
Ты еще в Краснодаре, где пока весна,
Первая военная наша весна.
Ты прибыл во главе шоферов
за полуторками,
У тебя — предписание —
В штаб тыла Южного фронта.
Вы устроились на квартире, в мазанке,
У каких-то дальних родственников

Помазана:

Нет дураков, чтобы жить в казарме.
Ты только что спрыгнул
 с площадки трамвая
И стоишь на месте, еще не зная,
 куда пойти.

Ты недвижим, техник-интендант,
А время уносит тебя, как река,
И ты, неподвижный, плывешь, плывешь...

августа 1963

БЕСЕДА НА ВЕРШИНЕ СЧАСТЬЯ

Дьявол

Как хорошо!.. Внизу — над льдиной льдина,
Сто тысяч красок, слитых в белизну,
А здесь, над ними, — теплая долина.
Зима на плечи подняла весну,
Как дедушка смеющегося внука,
И сердцу так приятен милый груз...
Не правда ли?

Бог

Да, я люблю Эльбрус.

Дьявол

Единство цвета, запаха и звука,
И ограниченность, и тот простор,
К которому, ты знаешь, с давних пор
Моя душа исполнена прирастает.
Недаром обитатель этих гор
Эльбрусу имя дал: „Вершина счастья”.

Бог

Так, кажется, его назвал Адам?

Дьявол

Быть может, полудиким племенам
Известны стали смутные преданья
О радостных картинах мирозданья,
Когда здесь не было суровых скал,
Крутых утесов, сумрачных ущелий,
Везде плоды приманчиво блестели,

Белел урюк, лимон благоухал
И зонтик пальмы, путников отрада,
Соседствовал с лозою винограда.

Б о г

Сюда Адаму удалось попасть.

Д ь я в о л

Когда его ты вышвырнул из рая?

Б о г

Когда впервые согрешила власть.

Д ь я в о л

Он злился, как дитя, не понимая,
Что в гору трудно целый день идти:
В раю привык он к плоскому пути.

Б о г

Он помощь получил.

Д ь я в о л

С тобою споря,
Я подошел к нему в минуту горя,
И волю гордую вдохнул в него,
Но как я был взбешен, когда увидел,
Того, кто безобидного обидел, —
Тебя, бессмысленное божество,
Со мною рядом!

Б о г

Я жалел его.

Д ь я в о л

И разлучил его с эдемским садом?
Он выбивался из последних сил,
А ты его ласкал умильным взглядом.
Скажи, зачем ты шел со мною рядом
Ему на помощь?

Б о г

Я его любил.

И ты его любил в тот миг тяжелый.

Д ь я в о л

Жалеть, любить — знакомые глаголы!
Не потому я злобой обуян,
Что ты меня обманываешь гнусно,
А потому, что лжешь ты неискусно,
И все же сладок людям твой обман.
За что его ты полюбил? За силу?
Но лев сильнее. За слабость? Лань слабей.
За голос? Но вселенной старожилу,
Наверное, милее соловей.
За красоту? В твоих глазах улыбка.
Признайся ж наконец: его избрав,
Ты забавлялся. То была ошибка,
Случайность, прихоть, выдумка!

Б о г

Ты прав.

Д ь я в о л

Я прав? И ты сказал мне это слово?
Товарищ старый, дай мне руку снова,
С тобой поговорим хотя бы раз,
Как два студента, живших прежде вместе.
Один достиг богатства, славы, чести,
Другой в заботах бедности погряз,
Но льются в беглый день их краткой встречи
Горячие, стремительные речи.

Б о г

Нас человек поссорил. С этих пор,
Впервые вздорной заняты борьбою,
Мы наконец беседуем с тобою.
Нет, был у нас однажды разговор...

Д ь я в о л

Здесь, на Эльбрусе,
 в страшный час распада.
Не для того ли, чтоб его понять,
Друг к другу потянуло нас опять,
И мы решили: встретиться нам надо?

Б о г

Да, я искал тебя. Давай всерьез
Поговорим. Как и тогда, упрямо
Все тот же задаешь ты мне вопрос:
Сказать, за что я полюбил Адама?
А ты за что Адама полюбил?
Не он ли наши души погубил?
В них столько ныне мусора и срама!

Д ь я в о л

Какую мы вкушали благодать,
Когда, причастны дикому блаженству,
Мы не пытались сущее познать,
Дороги не искали к совершенству!

Б о г

Ты живо мне напомнил о былом.
Однажды мы склонились над прудом.
В оправе листьев наши отраженья
Почти не колебал зеркальный круг,
И странно было нам увидеть вдруг
Два одинаковых изображенья.

Д ь я в о л

Твои глаза глядели веселей.

Б о г

В твоих была задумчивость и томность.
Решил я: ты — умней.

Д ь я в о л

А ты — смелей.

Б о г

И мира беспредельную огромность,
Доселе нам понятную извне,
Увидел я в тебе, а ты — во мне.

Дьявол

Скажи, творили мы иль забавлялись,
Когда выдумывали птиц, зверей,
Цветы, деревья, жителей морей?
Они на свет тотчас же появлялись
И умирали.

Бог

Удивлялись мы
Их появлению, их жизни краткой,
А смерть осталась, как была, загадкой.

Дьявол

Блестящие, но слабые умы,
Мы грезили без смысла и без цели,
Добро и зло предвидеть не умели,
А наши грезы облекались в плоть,
И были мы с тобой уже не властны, —
Согласны в чем-нибудь иль
не согласны, —
Их возвеличить или побороть.

Бог

Они тогда, как мы, еще не знали
Ни страха, ни веселья, ни печали,
Ни силы и ни слабости своей,
Ни храбрости, ни рабского смиренья.
Их пищей были травы и коренья.
Порою нянчила чужих детей —
Ягненка или телочку — тигрица,
Не думая добычей поживиться.

Дьявол

Пока не появился наш Адам.

Бог

Я помню день. Пестра была долина.
Твой взор прикован был к ее цветам.
И ты сказал: — Я сотворю павлина.
Он перед нами сразу же возник, —
Игрушка естества, живой цветник,
И зависть испытал я на мгновенье
К твоей изобретательности. Мне
Казалось дивным это вдохновенье:
С тобою откровенен я вполне.
Но я подумал: нет конца причудам,
Всем этим зебрам, страусам, верблюдам,
Как миру нет начала и конца,
Подобье грандиозней, чем различье,
В обыкновенном кроется величье,
И третьего я создал близнеца,
Такого же, как мы.

Дьявол

И не такого.
Все было в нем так близко нам —
и ново,
Так чуждо — и знакомо... Эта страсть
К игре, к наветам, к непрерывным козням,
С раскаяньем живительным,
но поздним,
То все благословить, то все проклясть.
То плакать, то смеяться без причины,
То ясным быть, то не снимать личины,
То гордым быть, то жалким,
в тайне пряхь

Силки обмана, возбуждать в нас
ревность
И хитрость вдруг сменить на
задушевность, —
Скажи, все это разве было в нас?

Б о г

Кто знает? Мы самих себя впервые,
Быть может, в нем открыли в горький
час.

Д ь я в о л

Ка изумились мы, сердца простые,
Когда задрал он белую овцу
И съел ее, потом пошел к ягнятам
И стал их гладить с видом виноватым,
А слезы покатались по лицу.

Б о г

То были слезы первые вселенной.
Ты любовался влагою бесценной
И непонятной, и еще милей
Он стал тебе.

Д ь я в о л

Нет, нет, я вскрикнул гневно!

Б о г

Не потому ли, что в душе твоей
О нем росла забота каждодневно?

Дьявол

И ревность. Я не мог терпеть, когда
Тебе внимал он с детским обожаньем:
Была мне ненавистна та звезда,
Что обливала вас двоих сияньем.

Бог

Ты ошибался. Он любил, поверь,
Двух близнецов без всякого различья,
И наши не угадывал обличья,
Как не угадывает и теперь.

Дьявол

Но сразу ты вступил со мной
в боренье,
Сказав ему, что он — твое творенье.

Бог

Сказал, но позже, но в сердцах, затем,
Что я, как ты, и ревновал, и злился.
Я видел: изменился наш эдем
С тех пор, как человек в нем поселился.
Он превратил в зверинец наш цветник:
Адам, каким-то чудом подмечая
Неясные черты питомцев рая,
Что появлялись в редкий, темный миг, —
Их злую сущность сразу же постиг.
Открыл он барсу: „Твой закон —
коварство.”
„Ты всех сильнее”, — подсказывал он льву.
Он дереву твердил: „Глуши траву”.
Шептал траве: „Борись числом, —
ты царство.”

Учил овцу: „Ты жертвой родилась”.
Лягушке он внушил: „Ты безобразна”.
Уверил розу: „Ты полна соблазна”.
И этих свойств мятущуюся связь
Мы в нем самом увидели с испугом.
Хотели исцелить его, но мы
Уже таким же мучались недугом.
Понять света, разумеешь тьмы,
Добра и зла открылось нам отныне,
Но мы запутались в первопричине,
А век сменялся веком... „Смерть есть зло,
Добро есть жизнь”, — сказали мы.

И что же?

Того, кто жизнь ценил всего дороже, —
Всего быстрее зло к себе влекло.
А тот, кто смертной не боялся бездны,
Кто говорил: „Я прав, и я умру”, —
Прямой дорогой приходил к добру.
Тогда твердил нам опыт бесполезный:
„Добро есть свет, а тьма — источник
зла”.

Но эта мысль отрады не дала.
Случалось так, что тьма торжествовала,
Но разгорался свет в людских сердцах.
Свет знания мощно пламенел, бывало,
А злое дело делалось впотьмах.
Ты помнишь ли страдания начало,
Когда, грехом первичным рождена,
Возникла вековечная война?

Д ь я в о л

Меж мною и тобой.

Б о г

Война меж всеми,

Война во всем, война в тебе, во мне.
Я думал: адом стала жизнь в эдеме
И надо положить конец войне.
Тогда: — Уйди! — сказал я человеку.
Но кто мне поручил над ним опеку?
Иль выше я Адама, выше всех?
Так совершил я первородный грех.
Я заблуждался, равного карая:
Не властен над своим твореньем бог.
Хотя Адама я изгнал из рая,
Из сердца своего изгнать не мог.
И ты не мог. Мы вместе с ним созрели,
Бессмысленно жестоки и добры.
С ним постигая новые миры,
Мы шли вперед, не постигая цели.
Мы видели и плахи, и костры,
Мы слышали набегов буйный топот,
И мудрости вольнолюбивой шепот,
И тихий ропот материнских слез,
Покуда мук и страха горький опыт
Нам откровенья правды не принес:
Зло есть неволя, а добро — свобода.
Мы в тайную полицию войдем:
Там явственной их облик и природа.
Вот следователь вымокшим платком
С лица стирает пот, с лица насилья.
Разорвались у жертвы сухожилья.
В кровавый превращенная комок,
Она молчит, и взор ее глубок,
Полуослепший взор, и в нем свобода.
Я счастлив, ибо знаю: год от года,
В день изо дня, из мига в миг, поверь,
Неволи допотопный, грозный зверь
Утрачивает власти обаянье,
Хотя рычит, увидев из норы
Свободы пленной робкое сиянье.

Дьявол

Да, счастлив ты. Тебе до сей поры
Поют хвалу адамовы потомки.
Восторги, славословья были громки
У тех, кто даже отрицал тебя.
А я, их души якобы губя,
Ушел, по их понятиям, в потемки.

Бог

Откуда знаешь ты, что ты есть ты,
Что я есть я? Что ты не славен всюду?
Что пишут не с тебя Христа иль Будду?
Что ты не полон к людям доброты?
Стоит пастух, стоит со стадом вместе,
А поезд мчится, — замирает дух.
Но поезд, может быть, стоит на месте,
И быстро удаляется пастух?
Брат, милый брат, не все ль равно, подумай,
Кто именно из нас — добро и свет?

Дьявол

Увы, печален будет мой ответ.
По воле человечества угрюмой
И мелкой сделалась моя душа,
Живу я, как ничтожество, греша,
И правды, как ничтожество, взыскаю,
Не веря ни улыбке, ни слезе,
Ни материнской силе поцелуя,
Ни новой очистительной грозе.
Один лишь раз во мне проснулась вера:
Когда атланты, атом расщепив,
Преобразили мир. Раздался взрыв,
Наполнилась огнем земная сфера,
Промчался ослепительный, живой,

Для тьмы есть мера и для света — мера,
И эту меру предпочтем всему,
Чтобы насилья меньше стало в мире,
Чтобы ломая тысячу преград,
Свобода утверждалась ярче, шире.
Жди и надейся.

Дьявол

Я надеюсь, брат.

март 1955

ТБИЛИСИ В АПРЕЛЕ 1956 ГОДА

1

Ты городом чужим проходишь в первый раз
И дышишь днем весны, как первым днем
творенья.
Не то, что у тебя теперь острее глаз,
А просто в первый раз обрел ты счастье
зренья.
Две старых женщины вступили в разговор
На спуске улицы, среди ее теченья.
Их темные платки, их жесты огроченья,
Причмокивания, смех, сменивший жаркий спор,
Такого для тебя исполнены значенья,
Как будто ты старух не видел до сих пор.
Через парадную в квадратный тихий двор
Ровесник твой вошел. Ты думаешь: ужели
Он, как и ты, слуга обыденных забот,
А не волшебником направлен к тайной цели?
Вот в черной шапочке, в изодранной шинели,
Сжимая посох свой, седой пастух идет.
О чем бормочет он, спустившийся с высот,

Где снег еще лежит, к проспекту Руставели?
Знаком ли пастуху гуляющий народ?

2

Все удивительно, уму и сердцу внове:
Витрины книжные, старинный фолиант,
В чьих буквах эллинских есть терпкость
 божьей крови,
Невинной наглости образчик — южный
 франт

И юной модницы призывный траур вдовий.
Повсюду разлиты весны веселый хмель,
Вино тщеславия и слезы тех недель,
Когда шумел раскат нерусского азарта.
Беспечно песенку свою бубнит апрель,
А в сердце и в глазах — печаль и ужас
марта.

Нет, лучше за город уйти от этих глаз,
То осуждающих, то жаждущих участия,
То вопрошающих, то пьяных ядом счастья,
То гордых и пустых, то с хитрецей пролаз,
То пышущих огнем пытливого пристрастья.
Уйти от площади, где кровь детей лилась,
Так страшно обагрив подножье монумента,
Где целилась в толпу та воинская часть,
Что обрела врага — грузинского студента,
Уйти от дней, когда с ума сходила власть,
Уйти от пышности правительственных зданий,
Пойти булыжником вдоль городской стены,
Где колокольцев звон — как весть о
караване,
Который проходил путями старины,
Чтоб слиться с облаком, сойти на нет
в тумане,
Где храма древнего развалины видны,
В котором первые молились христиане,

Где скалы светлые глядят из глубины
Тех лет, когда сюда вступали Сасаниды, —
Как слезы на глазах подавленной страны,
Как маленьких племен застывшие обиды.

3

Край виноградарей, приют садов и льдов,
Животрепещешь ты в горах, как виноградник.
Асфальтовым шоссе, как ветер, скачет
всадник,
Как будто гонит птиц, свободных от трудов
И в город мчащихся на митинг свой
стихийный.

А вслед за птицами являются машины
Всех красок и цветов, всех видов и родов.
Они украшены паласами, коврами,
С бутылкою вина, дрожа, торчит рука,
Другая — с розами, а та, в квадратной раме,
Грозит прохожему рапирой шашлыка,
А сколько скрыл гостей брезент грузовика,
А запахи подлив, баранины и теста!
Вот в этом „москвиче” — с подругами
невеста,
В зеленом „газике”, под ветками, жених.
Знакомое лицо со стекол ветровых
На нас глядит, заняв незыблемое место,
И как бы говорит: „Живой среди живых,
Над ними властвую вовек. Смотри, приезжий:
Я тоже в свадебном участвую кортеже.”

4

Три года он в земле, — не в той, что
горяча,
А в русской, северной, и эта годовщина
Пришла и потрясла все существо грузина,

И хлынула толпа, в бессилии крича.
Не зверя алчного, не змея-палача,
Чьим человеческим лицом была личина, —
Грузинская земля увидела в нем сына,
С которым жаждали все племена родства,
В котором виделась побед первопричина,
У ног которого державная Москва,
Как суздальский князек перед ордынским
ханом,
На брюхе ползала... Покажется ли странным,
Что смутной истины предчувствуя приход,
Но так бессмысленно крича от долгой боли,
Душою, как Исав, ожесточась в неволе,
Убийцу своего стал чествовать народ?
Что там, где памятник, воздвигнутый при
жизни
Властителя, глядит на темную Куру,
Стихи, что рабьему принадлежат перу,
Читала девушка? Кто вправе укоризне
Подвергнуть юности уверенный порыв?
В тридцать седьмом году ее отца убили,
Но небыль сущего важней минувшей были.
Одическим стихом толпу заворожив,
Она, как Жанна Д'Арк, с прозрением
крестьянки,
Взывала к подвигу, который так красив,
И только с виду слеп... Но появились танки.

5

Народ — как человек: из горя и тоски
Не может строить жизнь, рассудку вопреки.
Давно ль своих детей он хоронил угрюмо?
Давно ль их приняла грузинская земля
Без плача скорбного и жалобного шума
И лишь в присутствии ночного патруля?
Но вот уже с чела сошла страданья дума:

Для новых радостей проснувшись поутру,
Он пляшет и поет на свадебном пиру.
Забывчив, значит он? Иль попросту
 безволен?
Иль, может быть, народ безумьем тяжким
 болен?
О нет, он памятлив, как время. И жива
В нем воля твердая, — он сам из
 естества
Свободы сотворен, в которой вечный разум.
Безумье буйствует иль, подчинясь приказам,
Стоит, недвижимое, в покорности тупой
С раскрытым языком над нижнею губой.
Но можно ли назвать безумьем день
 весенний,
Когда бежит вода нагорною тропой
И льдины валит вниз, и камни кружит
 в пене,
С твердынями зимы вступая в звонкий бой?
И разве пред тобой безумия приметы —
На стеклах ветровых покойника портреты,
То в качестве листка, что взят из букваря,
То с мавзолея он вперед глядит надменно,
То в форме маршальской, раскрашенной
 отменно,
Блится, как кумир, прельстивший дикаря.
Нет, нет, спадут с дорог разгневанные воды,
Когда взойдет на свет весны желанный
 цвет,
Листики спадут с машин, когда сердцам
 в ответ,
Кругом заговорит зеленый шум свободы.

6

Как благодарен я судьбе, явившей мне,
Грузинская весна, твоих путей начало!

Видать, весельчаки, пожалуй, смельчаки:
Недаром не хотят детишкам подчиниться,
Должна же быть всему известная граница.
Культ личности навек отныне осужден,
Так требуют Москва, республика, район,
Пусть новая теперь откроется страница...
Создания жалкие! Вчера, его рабы,
С богопоставленным не мысля и сравниться, —
Когда бы он моргнул, распяли б вы провидца!
Не вы ли нарекли чертогами гробы?
Вы были для него готовы на злодейство,
Презреть пророчество, прославить
фарисейство,
Самим себе вознестъ позорные столбы,
Убить своих друзей, предать свое
семейство,
В его жестокости увидеть благодать
И прописи его умильно повторять.
А нынче с детворой вы спорить не боитесь,
Послушать вас, так вы святители: один —
Оплот униженных, другой — свободы витязь,
А третий — чистоты и правды паладин.
Вам отвратительно его обожествленье?
Вам жаль, сердечно жаль обманутых ребят?
За ними взрослые, вам кажется, стоят?
Да это же воды весенней наступленье,
Да это же весна, весна, сама весна
Стремительно спешит навстречу летним
грозам!
Она потоками нечистыми полна,
Где прошлогодний снег бежит с трухой,
с навозом,
Но это же весна, и свет несет она
И виноградарям, и виноградным лозам.

„Прощайте, – мысленно твержу я детворе, –
Еще мы встретимся среди пути иного!”

Вдруг захотелось мне вернуться в город

CHOBA

К толпе гуляющей, к играющей Куре,
Где, чтоб напомнить нам о зле или добре,
Вознесся монумент могуче и сурово.

Понятней стала мне теперь его основа.

Он полужайкою себя обозначал

Еще когда о нем не слышали грузины.

Он состоял из двух тождественных начал,

И лишь тогда в одно слились две половины,

Когда соперников своих он в прах втоптал,

И над империей вознес провинциал

Изрытый оспой лик — ужасный, двуединый.

Он вырос в племени. Интернационал

Считал он глупостью, интеллигентством,

барством.

Как к ногтю Ленина больного он прижал,

Так революцию прижал он государством.

В нем льстивый жил торгош, в нем жил

продажный раб,

В нем жил кавказский плут, в нем наглый

жил сатрап.

К межплеменной вражде всем сердцем

тяготя,

Он видел вместе с тем светильник

Прометея.

Для гнета всемогущ, он был для воли слаб.

Гуляка и ханжа, святоша и убийца,

Он мог взлететь и пасть, он мог дарить

и красть,

Он мог не только лгать, — над правдою

ГЛУМИТЬСЯ.

Москва и Русь, и мир его признали власть.

О, то не Рим признал на краткий миг
нубийца, —
То победило зло, что втайне в нас росло.
Он библией нарек насилия ремесло,
Первосвященником назвал себя разбойник...
Пусть на душе у нас, как прежде, тяжело,
Но сладко нам теперь о нем сказать:
покойник.

9

Однако разве мы обязаны себе
Отрадой светлюю? Неслыханное бремя
Мы разве сбросили, разрушив гнет в борьбе?
Он был старик. Его предсмертной похвальбе
Внимали мы, дрожа, рабов бессильных племя.
России помогли не мы, не мы, а время.

10

Об этом времени сказал один зека:
„Смерть стала роскошью, смерть стала
сверхудобством”.
А чем же стала жизнь? Растленьем языка?
Иль похотью души? Иль разума холопством?
Иль мы, что на других смотрели свысока,
Червями расползлись? Иль разрослись
хвощами?
Иль отданы в заклад, мы сделались вещами?
А так как нас томит неясная тоска,
То духу мертвому затем и смерть потребна,
Чтоб в человечество вернулись мы волшебю?
Ответьте нам скорей рычанием зверей,
Пыланием печей, глаголом лагерей,
Лазурный Волгодон, истлевшая Треблинка
И ты, на площади убитая грузинка.

1956-1958

СОЛИКАМСК В АВГУСТЕ 1962 ГОДА

Не верю я, что есть родильные дома,
И всякой мудростью обильные тома,

Что Пермь Великая и Малая, лесная,
В былое канула, что началась иная

Цивилизации державная пора.
Не верю я, что есть, помимо топора,

Другой завет людской, что рухнули
кумирни,
Что можно выпарить печаль, как соль
в градине.

Рифмуя „соль” и „боль”, слагались здесь
года,
С ноздрями рваными гуляла здесь беда.

Здесь кровью каторжной окрашен каждый
гарнец
Солей, полученных из строгановских варниц.

Здесь княжил дикий бор, но идолище-бог
Вогулам, осякам и беглым не помог:

Склонился истукан пред русским чистоганом.
Три церкви каменных, в столетьи деревянном,

В семнадцатом, сошлись, блистая и круглясь,
На площади, где снег сменяли пыль и грязь.

За ними — дом купца, обрюзгший, старый,
серый,
Теперь гостиница. Живут в ней офицеры,

Те, что живут везде и охраняют нас:
За нами, падлами, ведь нужен глаз да глаз.

Спущусь ли я с горы задворками на берег,
В автобус протолкнувшись, войду ль в пугливый
скверик,

В столовую — „Лесник” иль в „Металлург”, —
кино,
Где днем и вечером солдат полным полно, —

Мне кажется: я дичь. В зеленом полумраке
За мной охотники следят и их собаки,

Еще не порешив: свалить, сварить и съесть
Иль пригласить меня с собою рядом сесть...

Поодаль, на холме, есть новые кварталы,
Дома с удобствами. Взбираюсь к ним, усталый,

И зону с вышками я вижу с вышины
И лампы, что и днем зачем-то зажжены.

Вот так среди города, среди школ и
„гастрономов”,
Аптек и ателье, читален и райкомов,

Есть лагерь и тайга, лежневка и конвой...
Что человечества весь опыт вековой.

Все революции, прозренья и открытия,
Этапы нашего культурного развития!

Один лишь поворот, один лишь краткий миг, —
Летят ко всем чертям законы умных книг,

И вновь закон — тайга: канон лесоповалов,
Евангелие волков, симпозиум шакалов.

Иду по городу — и знаю: за спиной —
Сержант и старшина из роты розыскной.

Я заприметил их, запомнил их приметы:
Бредут вразвалочку, в гражданское одеты,

Но бравых гавриков (понятлив наш народ!)
Увы, защитный цвет рубашек выдает.

Я думаю: копить весь месяц хлеб из пайки
Тайком от подлеца и опера-всезнайки;

Покуда любитса со школьницей стоймя
Конвойный из лезгин, — пробраться, не шумя,

К столбу, где вскопана земля; во тьму
лесную
Бежать; запутать псов; приблизиться
вплотную

К гибели, где топь и гнуса подлый плач,
Где листья ссучились, где каждый сук —
стукач;

Узнать звериный страх; страдать алчбой
звериной;
Плутать в болотных мхах грядюю, мочажинной;

Лишайник, тутровик у бедных белок красть
И в город наконец в ночь августа попасть;

В теплушке спрятаться, мечтать: есть дом
и баба
На станции Убыть, на полустанке Жаба;

Гудки, гудки; шаги; свистки; обход ночной —
И свет, и ты в руках у роты розыскной!

И вот железные надежные браслеты
Надеты на руки и на ноги надеты ,

И в изоляторе штрафном на грязный пол
Ты тихо падаешь спиной вверх, и стол —

Ногами вверх — тебе на спину опрокинут.
Теперь-то из тебя, поверь мне, душу вынут!

Попрыгает солдат, — его аж бросит в пот, —
Он легкие тебе с печенкой отобьет,

И — ни царапинки, ни синяка на теле!
Ты болен, при смерти... И через две недели

На волю выйдешь ты. Но только знаешь, брат,
В земле не будет греть из дерева бушлат!

...Сержант и старшина направились к вокзалу,
И мы туда пойдём. Глазам спервоначалу

Откроется пустырь и зона для блудниц,
Бездельниц, клеветниц, торговых учениц.

Известный лагерь: насмешниками злыми
Ему присвоено Восьмого марта имя.

Вдали без вывески, без надписи барак
И узкий вход: вдвоем нельзя пройти никак.

Налево — сразу дверь милиции. Направо —
Обитель опера, судилище, расправа.

Угрюмый коридор ведет в просторный зал,
Достойный, чтоб его свидетель описал.

На скамьях — две семьи: хохлы из Закарпатья,
Давно узнавшие, что мы родные братья.

Их дети родились в тайге, но есть приказ —
Пусть возвращаются домой в счастливый час .

Интернационал: удмурты, немцы с Волги,
Казак-иеговист, срок отбывавший долгий,

Солдаты, что в зека бежавшего стрелял, —
За это получил он отпуск на Байкал.

В оконце в глубине стены, как светоч мира, —
Неясное лицо всевластного кассира.

Перрон. Вагонов нет. Безлюдно. Тишина.
Вниманье обрати, Федюшка-старшина:

Куда пошел дружок? Видать, сидел в буфете.
Он с чемоданчиком, в тельняшке и в берете.

Но глаз наметанный преступника проймет.
Вдвоем они берут парнишку в оборот.

Он вырывается, — ему ломают руки, —
Бьют в зубы и в глаза, — успехи есть
в науке! —

И к оперу его, голубчика, ведут.
Всего проходит пять — не более — минут, —

Отпущен: он — монтер. „Произошла промашка,
Езжай в Березники”. В крови его тельняшка,

В крови его лицо, его глаза в крови...
О жизнь, к чему ты мне, свой бег останови,

Я биться не хочу о стенку головою,
Я лучше в лес уйду, я лучше волком взвою,

Назад, назад, во мглу, в пещеру, в мезолит,
Где дротик дикаря мне сердце исцелит!...

Градоначальника ты видишь дом старинный?
Зайдем в музей. Кругом — прошедшего картины.

Гражданская война. Вот несколько депеш,
Рисующих уезд, эсеровский мятеж.

А вот и наши дни: строительство завода,
Пермячка знатная, избранница народа.

Страда. Борьба за мир и счастье всей земли, —
То путь, который мы с таким трудом прошли.

Куда же мы пришли?

23. 2. 63

ЛИТЕРАТУРНОЕ ВОСПОМИНАНИЕ

Посвящается И. Л.

Быть может, потому, что я не раз
Слагал об этом мысленно рассказ;

Иль небо мне навстречу устремилось,
Послав мне слушательницу, как милость;

Быть может, потому, что старый год
Постиг, уже не споря, свой исход;

Иль, может, потому, что в этом месте
Сближалось бурно с городом предместье;

А, может быть, все дело было в них, —
В нерастворенных газах выхлопных,

Иль в том, что там, где молод был когда-то,
Теперь к тебе спешил я вдоль заката, —

Нарушен был планетный обиход:
В два яруса вставал небесный свод.

Мне озером казался верхний ярус,
Челн самолета в нем купал свой парус,

А в нижнем краснопалая рука
Как бы остановила облака.

И мир волшебный, горный, двуединый
Так засиял во мне, что из машины

Иная мне привиделась зима:
Там, где теперь возвысились дома,

В годину мелкости и завирuhi
Построенные в современном духе,

(Так, к слову: может, в том-то наш недуг,
Что времени мы подчиняем дух), —

В те годы ладно струганной толпою
Стояли пятистенки под щепою,

Однако же соседствуя порой
С приземистой постройкой городской.

Запомнились мне к станции поближе
Аптека, и амбар кирпично-рыжий,

И крест, сквозь вечеряющий простор,
Как мученик, взошедший на костер.

Над храмом, лишь на днях приговоренным
К бездействию активом межрайонным.

Скворешни, и колодцы, и для пчел
Колоды, и умолкнувший глагол

Колоколов, — все было мне предвестьем
Того, что разразится над предместьем.

Я медленно оглядывался здесь.
Впервые в русскую попал я весь.

Ты не узнала б нынешнего друга
В том юноше, в том уроженце юга.

Но были ль странными мои черты?
Смесь жажды: жертвенности и тщеты,

Невежества, начитанности, вздора,
Непримиримости и термидора.

Меня сюда устроил мой земляк.
Он видел сам себя среди гуляк,

Среди бродяг, веселых и беспутных,
Певцов и птицеловов бесприютных.

А там и новый образ: военспец,
Кавалерист... Ты улыбнешься: лжец?

Но, право, это было б слишком просто!
Женственноплечий, но большого роста,

С седым вихром на молодом челе,
Артист и мой наставник в ремесле

Словесном, — он сверкал серо-зеленым
Сверканьем глаз, он был Пигмалионом,

Который самого себя лепил,
Но не себя, — ваяние любил.

Он из себя выдавливал еврейство
Горячкой романтического действия,

Ружьем или манком в ловецкий час,
Да строчкой, просмоленной, как баркас.

Все, что искал он раньше в чудных книгах,
Он находил в наркомах и комбригах,

В тачанках и кожанках, и обман
Он впрыскивал в себя, как наркоман,

Нет, как шаман, камлал он иступленно,
Завороженно славил гегемона

И бунта дикого девятый вал,
Но иногда глаза он раскрывал,

И пред внезапно исцеленным взглядом
Метался меж Махно и продотрядом

Несчастный украинец-хлебобоб,
Иль сердце вдруг сжимал, бросал в озноб

Тот соловей, что пел в газетной клетке.
А голос у него был чистый, редкий,

Первопородной звонкости, хотя
Наставник мой дышал, кряхтя,

Стихи в среде читая разномастной.
Потом шутил: „Могу бороться с астмой, —

Одно спасительное средство есть:
Вслух Мандельштама надобно прочесть”.

О говор юго-западный, певучий!
Как поднималась истина созвучий.

Из глубины в те дни заглохших строк:
Случевский, Ходасевич, Клюев, Блок...

Усевшись, будто сарацин ленивый,
Мои выслушивал он инвективы,

С насмешкою над молодостью лет
И лишь привычно негодуя: „Бред”.

(Он и мою рифмованную шалость
Словечком этим награждал, случалось).

Однажды я стихи отнес в журнал,
Где он служил: знакомством не желал

Воспользоваться, — отдал секретарше.
Что ж начертал на них товарищ старший?

„В „Епархиальный вестник”... Два-три дня
К нему не приходил я. Но меня

Он утром навестил в моем чулане.
Спросил в дверях: „Чи вы сказились, пане?

Прочтите что-нибудь”. Я стал читать:
Слаб человек... „Искусно, но опять —

Набор отживших мыслей: вера, вече,
И прочее, и воля... Сумасшедший!

У вас есть слух, не слишком острый глаз,
Но четко вы рисуете подчас.

Пишите то, что от пупа, от пуза.
К чертям ваш детский бред! Пусть ваша муза

Со всей страной двинется в поход!”...
Мой детский бред... О двадцать первый год!

Коптилка еле тлеет. Голодаем.
Однако мамалыгой и малаем

Торгуют бабы из молдавских сел.
Сгорел собор. Обледенел костел.

Как в раю, ни к чему работа.
Чуть вечер — запираются ворота

С прорубленным квадратиком-глазком:
Тот не войдет во двор, кто незнаком, —

С винтовкой, то пугаясь, то рисуясь,
Жильцы дежурят, важно чередуясь.

Нас начал часто посещать один
Занятный гражданин. Свой сахарин

Он приносил, и в кипятке чайники
Всплывали вверх, и жмых шипел в румынке,

И нам рассказывал знакомец наш
О том, как он пришел на вернисаж

В Париже, о балетных чародейках.”
Он прежде был богат, — из братьев Лейках, —

(„Кастор, трико, маренго, шевиот”),
Вел старший брат торговый оборот,

А он, коммерцию презревший с детства,
Жил на процент с отцовского наследства.

Он был, что называется, эстет.
Среди разрухи щегольски одет,

Он облик сохранил эпикурейский.
Отцу сказала мама по-еврейски,

(Чтобы понять не мог я ничего),
Что бросила любовница его

В тот день, когда бежали офицеры
В Стамбул. А он визитки и портьеры,

С трудом входя в базарную толпу,
Менял на хлеб и ячную крупу.

...К нам в дом вступили двое в вечер
поздний:
Изъятие излишков. Но о розни

Как бы не зная, мой отец в ответ
Явил свой меньшевистский партбилет.

Увидев „РСДРП” на книжке,
Решили нам оставить все излишки

Еврей в папахе и кацап-матрос.
Но был еще, как видно, и донос:

Велели гостю нашему одеться,
И молча увели... Одесса, детство

И выстрел в том холодном феврале.
Мы выбежали в ночь. А на земле

Он у ворот лежал. Пришел Никита,
Заика-дворник. Бормоча сердито,

Он зажигалкой осветил пальто.
А кто в пальто? А что в пальто? Ничто.

Густела кровь на котиковой шали
И ничего глаза не выражали...

Родная, смерть я видел на войне,
А случай был, — стрелять пришлось и мне.

Но дворник что-то мне всю жизнь бормочет,
Та смерть во мне — и умереть не хочет.

Быть может, потому себе не лгу,
Что от нее отречься не могу...

Я рассказал ему про двадцать первый,
О выстреле... „Эстеты эти — стервы,

А есть закон для стоящих людей:
„Того, кто должен быть убит, — убей”.

(Позднее безнадежней, непреклонней
В стихах об этом скажет он законе) .

Тянулся он к чекистам. Среди них
Загадочней, острее остальных

Казался Блюмкин, тот, кто Гумилевым
Был обозначен живописным словом,

Тот, кто стрелял в имперского посла.
Но чья рука его рукой вела?

Романтик принимал его с опаской
Но и с восторгом перед мрачной сказкой.

В ту зиму наш поэт увлекся вдруг
Историей Конвента. Часто вслух

Он максимы Сен-Жюста и Марата
Читал чуть нараспев, но хрипловато,

И во французских слышались речах
Сегодняшняя боль и русский страх:

Уже рождалась в той зиме тревога.
Как и его друзья, он думал много

О том, кто был, завернутый в ковер,
В Алма-Ату отправлен под надзор...

За липами, где горизонт сиренев,
(Как в „Накануне” описал Тургенев) ,

Расположились дачи у реки.
Там жили крупные большевики.

Мы шли туда путем кратчайшим, что ли,
(Сейчас уже не помню) , через поле.

Вдали дома чернели, и сперва
Мне избами казались деревья.

Природа нас разглядывала молча.
Пес выскочил, остановился. Волчья

В собаке мнительность была. Кругом
Все в древность шло. Великий перелом

Как бы не нависал над земледелом.
Еще был чьим-то вотчинным уделом

Окрестный край, и даже Юрьев день
Еще не наступил для деревень,

Лежавших за снегами, за веками,
А мы брели по полю чужаками.

И только поездов упрямый бег
Напоминал, что есть двадцатый век,

Ломающий обычай, веру, право
С самонадеянностью костоправа...

Мы направлялись в гости. Он с собой
Взял и меня, чтоб одному домой

Не возвращаться в стужу долгой ночи.
Он ликовал: „Путиловский рабочий,

Как говорится, парень от станка,
Работает инструктором Цека.

Жена — бабец, что надо, одесситка,
Моя приятельница”... Вот калитка

И с мезонином деревянный дом.
Они в хоромах стали жить потом,

Тогда лишь каждый потрох обнажили,
Когда самих себя распотрошили.

Сама хозяйка нам открыла дверь.
Что в отошедшем вижу я теперь?

Авторитарную непринужденность;
Ее шифоновое платье; склонность,

Однако, там, где нужно, к полноте;
При этом ноги тонкие; и те

Глаза, что нравились великороссам, —
Тем выдвиженцам кряжистым, курносым;

На слишком выпуклой груди янтарь;
Партийно-артистический словарь, —

Все это было сказкой, стало былью,
И сгнив, смешалось с лагерною пылью.

И то, что и не снилось гольтепе —
Стоячие часы и канапе,

Дворянских гнезд разрозненная мебель, —
Все так же превратилась в пыль и небыль...

Нам приготовили домашний стол.
Был лишь один нерусский разносол —

Со шкваркой редька. И лафитник с горькой
Был позлащен внутри лимонной коркой,

И смех, и „я люблю лесную глушь”,
И как-то странно появился муж, —

Как будто ниоткуда, не из двери.
Воображение или суеверье?

Он был урод. Он был колдун-урод!
Почти что карлик. Был наполнен рот

Несхожими зубами, — будто в разных
Ртах реквизированными. Приказных

Снабжали, вероятно, в старину
Глазами из такой слюды. К окну

Он резко подошел и, к нам спиною,
Зачем-то постоял перед ночью

Безмолвной тьмой, придвинув лоб к стеклу,
И, повернувшись, пригласил к столу.

Тост произнес. „Так, значит, мы соседи”, —
И перестал участвовать в беседе.

Поэт с хозяйкой вспоминали юг,
„Зеленой лампы” одаренный круг,

Потом он стал читать. Читал с подъемом,
Со свистом, звоном, шелканьем и громом.

Хозяйка сделала глазами знак:
Мол, восхитись. Хозяин-вурдалак

Сказал, вульгарно ставя ударенье:
„Иметь было б неплохо точку зренья:

Вы пограничник иль контрабандист?
А стиль у вас, что говорить, речист”.

Кто мог предположить, что мы в берлоге
Бесовской? Что уродец кривоногий,

Сей недоумок бедный — сатана,
В чьих рукавицах смерть заострена,

Что партии народец трехгрошовый
Ужახнется при имени Ежова!

Но горе нам: не бес и не колдун, —
Крючок приказный, ябеда, топтун,

Лет через семь, умом и волей скудный,
Какою же, однако, силой чудной

Принудит баловней и главарей,
Светил наук, героев, бунтарей

Гноить в гноище изгоями рассудка?
Вопрос тяжел, но и ответить жутко.

Мы вышли. Ночь. Постройки и дворы
Черно молчали на снегу, Миры

С белесой выси, в воздухе студеном,
Мерцанием сияли отчужденным,

И сосны пред княгиней-зимой
Стояли, как стрельцы, и спутник мой,

Сердечных не любивший излияний,
Насмешник и остряк, как все южане,

Нагнулся, обхватил меня рукой,
От слез и снега мокрою щекой

К моей щеке неловко прикоснулся.
Иль божий свет опять на миг проснулся

В незрячем? Иль буран грядущих лет
Провидит оком голубя поэт?

20. 1. 74

ЧЕЛОВЕК В ТОЛПЕ

Четвертая книга

Стихотворения 1956-1966 годов

У СОБАК

Закрутили покрепче мы гайку,
Чтоб никто не сумел отвернуть,
В герметическом ящике Лайку
В планетарный отравили путь.

На траву она смотрит понуро,
На дорожный, неведомый знак,
Не поймет, что заехала, дура,
В государство разумных собак.

Перед нею сады и чертоги,
Академии строгий дворец,
А на площади — четвероногий
Знаменитый, гранитный мудрец.

Депутаты, жрецы, лицедеи,
Псы-ученые, псы-лекаря
Пожелали узнать поскорее
Первобытного пса-дикаря.

И толпа, орденами блистая,
На советскую жучку глядит,
От ее допотопного лая
Ощущая и ужас, и стыд.

Что вы знаете, вы, кавалеры
Золотого созвездия Пса,

О страданиях, которым ни меры,
Ни числа не найдут небеса?

Что запели бы вы в своем доме,
Услыхав директивы цынки,
И просторы республики Коми,
И указы державной тайги?

Благосклонный не стал благородным,
Если с низким забыл он родство,
Он не вправе считаться свободным,
Если цепи на друге его.

Ни к чему вашей мысли паренье,
Словопренье о зле и добре,
Если в сердце лишь страх — и презрение
К бессловесной, безумной сестре.

1957

ВАШ СПУТНИК

Я — земной, но сказка стала былью:
На вселенской мельнице тружусь,
И осыпан мелкой млечной пылью,
Вместе с вами, звезды, я кружусь.

Я б навек от смертных откололся,
Утверждаясь в собственном тепле,
Но грибок внутри меня завелся
И сигналы подает земле.

Боже правый, я не жду награды,
Верьте, что кляня судьбу мою,

Предаю вас, чистые Плеяды,
Солнце и Луну я предаю.

Скучно мне лететь в свободном небе,
Страшно мне глядеть с вершины дней,
И, быть может, мой блестящий жребий
Многих мрачных жребиев трудней.

Может быть, в каком-то жутком блоке,
Где-нибудь в Лефортовской тюрьме,
Более свободен дух высокий,
Что светить умеет и во тьме.

Я парю в паренье планетарном,
Но, я знаю, долговечней тот,
Кто сейчас в забое заполярном
Уголь репрессивный достает.

Пусть я нов, но я надеждой беден,
Потому что не к добру мой труд.
Стану я не нужен, даже вреден,
И меня без шума уберут.

После кратких вынужденных странствий,
Связанный с тобой, земная гниль,
Разобьюсь в космическом пространстве,
Распылюсь, как лагерная пыль.

1957

В РОЩЕ

Синица, твой русский свист,
Я знаю, звучит не праздно,

Как узкий специалист,
Ты дивно однообразна,

Но только тебе невдомек,
Что песня твоя голубит
Вот этот безвестный листок
Породы любит не любит.

Безвестный? Как бы не так!
Быть может, соседним листьям
Известен он, как чудак,
И славится бескорыстьем?

Неужто всю жизнь воробей
Бренчит для себя на гитаре
И знать не знает друзей —
Ромашек, иван-да-марий?

Неужто жители рош
Друг другу чужды от века,
И лишь обретают мощь,
сливаясь в душе человека?

Пусть эта душа узка, —
Земля к ней спешит за данью,
А радость ее и тоска
Равны всему мирозданию.

1959

ПОСЛЕ СМЕРТИ

Она ушла, прожив с ним четверть века,
Потом вернулась, но ушла опять.

Он пил, кричал — и перестал кричать:
Уж не нужны ни водка, ни аптека.

Его друзья старались, чтоб мертвец
Был в список занесен номенклатурный.
На кладбище, где признанные урны,
Его стыду, слезам пришел конец.

И скульптор — бородатый, юный, левый —
Пытается установить гранит,
Который передаст и утвердит
Усопшего последние напевы.

С цветами, что прекрасны на Руси,
Чей цвет и запах мы за скромность ценим,
Она по вторникам и воскресеньям
К могиле приезжает на такси.

Глядит глазами, белыми от боли,
Весь день до самых сумерек сидит,
От смутных и непонятых обид
Тоскует, как безумная в неволе.

К любовнику приходит, как сестра,
Наперекор желаньям и рассудку,
Небрежно говорит: „Я на минутку”, —
И плачет, плачет, плачет до утра.

1959

В ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ

Цыганка идет мостовую,
Монистом чуть слышно бренчит,

За пазухой что-то живое,
В нечистом и пестром, молчит.

В глазах ее смесь лбопытства
И просьб, и нельзя побороть
Того рокового бесстыдства,
Что движет бродячую плоть.

Толпа разлилась городская,
Текут демонстранты домой.
В их речи невольно вникая,
Проходит она стороной.

Сегодня гулянье, гулянка,
Покой для натруженных рук.
Заснуло дитя, и цыганка,
Как девочка, смотрит вокруг.

Неспешно, беспечно, бездумно
Проходит она мостовой,
А в парке настойчиво, шумно
Играет оркестр полковой.

1959

РИСУНОК В ВАГОНЕ

Яснее законы добра
В четвертом своем измерении:
Не завтра, а наше вчера
Сегодня поймешь в озарении.

У мальчика что-то в лице,
Чем с миром прошедшим он связан.

Себя не найдет он в отце,
Но тот уже в нем предуказан.

А поезд в движеньи живом
Шумит, приближаясь к платформе:
Так мысль, чтобы стать существом,
Спешит к предназначенной форме.

1960

РИСУНОК У ГРЕЧЕСКОЙ ПЛОЩАДИ

И дворик, и галерея
Увиты пыльным плющом.
Проститься бы поскорее, —
О чем говорить, о чем?

Твой город в прежней одежде,
Но сам ты не прежний нахал,
Хотя и краснеет, как прежде,
Седая мадам Феофал.

А там, на площади, людно,
Таксисты дремлют в тени.
Отсюда попасть нетрудно
В Херсон, Измаил, Рени...

Зачем, неудачник, злишься?
Иль вспомнить уже не рад,
Какой была Василиса
Лет тридцать тому назад?

Прокрадывалась в сарайчик —
И дверь за собой на засов,

И лишь электрический зайчик
Выскакивал из пазов!

Угадывал ты, счастливый,
Чуть стыдный ее смешок,
А на губах торопливый
Горел, не стихал ожог.

Студентик в пору каникул,
Не ты ли еще вчера
В душе своей жалко чирикал
О смерти, о казни добра?

Как в омут потусторонний
Смотрел ты, робкий смутьян,
На жмеринковском перроне
В глаза безумных крестьян.

Вповалку они лежали,
Ни встать, ни уйти не могли,
Прошедших времен сжимали
Клеймили их: куркули.

Но дикость хохлацкого неба,
Но звезд золотой запас,
Но дикая стоимость хлеба,
Но боль обезумевших глаз
Померкли пред этой искрой
Во мраке южных ночей,
Пред этой легкой и быстрой,
Безумной любовью твоей

С веселой, готовой пухнуть
Смуглою наготой,
С тяжелой, готовой рухнуть,
Греческой красотой.

Одесса. 1960

МАТЕРИ-РОДИНЕ

На Афганской границе,
Где два мира сошлись,
Как слеза на реснице
Я над Пянджем повис.

В эту глубь, что пустынно
Голубеет внизу,
Непокорного сына
Урони, как слезу.

1960. Хороз

ОЧЕВИДЕЦ

Ты понял, что распад сердец
Страшней, чем расщепленный атом,
Что невозможно наконец
Коснеть в блаженстве глуповатом,

Что много пройдено дорог,
Что нам нельзя остановиться,
Когда растет уже пророк
Из будничного очевидца.

1960

КОЛЮЧЕЕ КРУЖЕВО

Там, где вьется колючее кружево
То сосной, то кустом,

Там, где прах декабриста Бестужева,
Осененный крестом,

Там, где хвоя, сверкая и мучая,
Простодушно-страшна,
Где трава ая-ганга пахучая,
Как лаванда нежна,

Там, где больно глазам от сияния
Неземной синевы,
Где буддийских божеств изваяния
Для бурята мертвы,

Где дрожит Селенга многоводная
Дрожью северных рек,
Где погасли и Воля Народная,
И эсер, и эсдек, —

Мы великим надгробия высечем,
Мы прославим святых,
Но что скажем бесчисленным тысячам
Всяких — добрых и злых?

И какая шаманская мистика
Успокоит сердца
Там, где жутко от каждого листика,
От полета птенца.

Улан-Уде. 1961

ГОРОД-СПУТНИК

Считался он раньше секретным,
Тот город вблизи наших мест.

При встрече с приютом запретным,
Спешили машины в объезд,
Но после двадцатого съезда
Не надобно больше объезда.

Я в очередь, нужную массам,
Встаю у нещедрых даров.
Мне парень, торгующий мясом,
Кричит: „Израилич, здоров!”
И вполоборота: „Эй, касса,
Учти, что кончается мясо!”

Мне нравится улиц течение —
Средь сосен глубокий разрез,
Бесовское в башнях свечение,
Асфальт, устремившийся в лес,
И запад, огнями багримый,
И тонкие, пестрые дымы.

Люблю толстопярых мужичек
И звонкую злость в голосах,
Люблю малокровных физичек
С евфратской печалью в глазах,
Люблю офицеров запаса —
Пьянчужек рабочего класса.

Слышал я: под тяжестью сводов,
Под зеленью этой травы —
Кварталы, где много заводов,
Где сколько угодно жратвы,
Где лампы сияют монистом
Механикам и прграммистам...

Уйдем от назойливых басен!
Поверь, что не там, под землей,
А здесь этот город прекрасен —
Не плотской красой, а иной,

Не явью, хоть зримой, но мнимой,
А жизнью покуда незримой,

Незримой, еще не созрелой,
Себе непонятной самой,
И рабской, и робкой, и смелой,
И волей моей, и тюрьмой,
И цепью моей, и запястьем,
И мраком, и смрадом, и счастьем!

1961

ТАЙГА

Забутые закамские соборы,
Высокие закамские заборы
И брежи ссучившихся псов,
Из дерева, недоброго, как хищник,
Дома — один тюремщик, тот барышник
С промышленной узостью пазов.

В закусных, в дыханье ветра шалом,
Здесь всюду пахнет вором и шакалом,
Здесь раскулаченных ковчег,
Здесь всюду пахнет лагерной похлебкой,
И кажется: кандалною заклепкой
Приклепан к смерти человек.

Есть что-то страшное в скороговорке,
Есть что-то милое в твоей махорке,
Чайдон, пропойца, острослов.
Я познакомился с твоим оскалом,
С больным, блестящим взглядом, с пятипалым
Огнем твоих лесных костров.

Мы едем в „газике” твоей тайгою,
Звериной, гнусной, топкою, грибною,
Где жуть берет от красоты,
Где колокольцы жеребят унылы,
Где странны безымянные могилы
И ладной выделки кресты.

Вдруг степь откроется, как на Кавказе,
Но вольность не живет в ее рассказе.
Здесь все четыре стороны —
Четыре севера, четыре зоны,
Четыре бездны, где гниют законы,
Четыре каторжных стены.

Мне кажется, надев свой рваный ватник,
Бредет фарцовщик или медвежатник —
Расконвоированный день,
А сверху небо, как глаза конвоя,
Грозит недвижной, жесткой синевою
Голодных русских деревень.

Бывал ли ты на месте оцепленья,
Где так робка сосны душа оленья,
Где „Дружба”, круглая пила,
Отцов семейств, бродяг и душегубов
Сравняла, превратила в лесорубов
И на правеж в тайгу свела?

Давно ли по лесам забушевала
Повальная болезнь лесоповала?
Давно ли топора удар
Слывет высокой мудрости мудрее,
И валятся деревья, как евреи,
А каждый ров — как Бабий яр?

Ты видел ли палаческое дело?
Как лиственницы радостное тело

Срубив, заставили упасть?
Ты видел ли, как гордо гибнут пихты?
Скажи мне — так же, как они, затих ты,
Убийц не снизойдя проклясть?

Ты видел ли движенье самосплава —
Растения поруганное право?
Враждуем с племенем лесным,
Чтоб делать книжки? Лагерные вышки?
Газовням, что ли, надобны дровишки?
Зачем деревья мы казним?

Зато и мстят они безумной власти!
Мы из-за них распались на две части,
И вора охраняет вор.
Нам, жалкому сообществу страдания,
Ты скоро ль скажешь слово оправдания,
Тайга, зеленый прокурор?

Нырб — Соликамск. 1962

ОБЕЗЬЯННИК

Когда, забыв начальных дней понятие
И разум заповедных книг,
Разбойное и ловчее занятие
Наш предок нехотя постиг,

Когда утратил право домочадца
На сонмы звезд, на небеса,
И начали неспешно превращаться
Поля и цветники в леса, —

Неравномерным было одичанье:
Вон там не вывелся букварь,

А там из ясной речи впал в мычание
Еще не зверь, уже дикарь,

А там, где шел распад всего быстрее,
Где был активнее уран,
Властители, красавцы, грамотеи
Потомством стали обезьян.

Еще я не нуждаюсь в длинных лапах,
Но в обезьянник я вхожу,
И чувствуя азотно-кислый запах,
Несчастливым выродкам твержу:

„Пред вами — царства Божьего обломки,
Развалины блаженных лет.
Мы, более счастливые потомки,
Идем во тьму за вами вслед”.

1963

ПАЛАЧ

Сорокалетний старшина
Имеет в месяц полтора.
Его ровесница-жена
Широкобедра и грудаста.

Успешно учится их дочь
На скрипке в музыкальной школе,
А у него — за ночью ночь —
Работа снайперская, что ли.

Он лиц не видит никогда,
А только знаки, только знаки, —

Их так старательно беда
Выводит в загородном мраке.

Стреляет, как прикажут: в грудь
Иль в лоб, — ему-то все едино.
Начальник любит подмигнуть:
„Заказывает медицина!”

Бил немцев двадцать лет назад,
Теперь — которым дали вышку
За трикотаж, за винный склад, —
Грузина, брянского парнишку.

Встает он в полдень. Пьет коньяк.
Во рту какие-то полипы.
Курил он раньше натошак,
Теперь не курит: в горле хрипы.

Жена не знает ничего,
И вправду, нет счастливей брака.
Жена не знает про него,
Что скоро он умрет от рака.

1965

ДОРОГА

Лежит в кювете грязный цыганенок,
А рядом с ним, косясь на свет машин,
Стоит курчавый, вежливый ягненок
И женственный, как молодой раввин.

Горячий, ясный вечер, и дорога,
И все цветы лесные с их пылью,

И ты внезапно открываешь Бога
В своем родстве с цыганом и овцой.

1961

СУЯЗОВ

Баллада

Суязову сказано: „Сделай доклад”, —
А волость глухая, крестьяне галдят.

В газетах тревога: подходит Колчак,
И рядышком где-то бандитский очаг.

Суязов напорист, Суязов горяч,
Суязову нравится жгучий первач.

Собрал мужиков, чтобы сделать доклад,
Но смотрит — одни лишь бандиты сидят.

Бандиты в лаптях, в армяках, в зипунах
Двоятся в глазах и троятся в глазах!

Он выхватил свой полномочный наган,
Убил четырех бородатых крестьян.

К Суязову вызвали сразу врача, —
Ударил в очкарика дух первача.

В те годы своих не сажали в тюрьму.
Газеты читать запретили ему:

Видать, впечатлителен парень весьма,
От разного чтенья сойдет он с ума...

Прошло, протекло сорок сказочных лет.
Суязов с тех пор не читает газет.

На пенсию выйдя, устав от трудов,
Суязов гуляет у Чистых Прудов.

1962

НА РЕАКТИВНОМ САМОЛЕТЕ

Сколько взяли мы разных Бастилий,
А настолько остались просты,
Что творца своего поместили
Посреди неземной высоты.

И когда мы теперь умудренно
Пролагаем заоблачный след,
То-то радость: не видно патрона,
Никакого всевышнего нет!

Где же он, судия и хозяин?
Там ли, в капище зла и греха,
Где ликует и кается Каин,
Обнажая свои потроха?

Или в радостной келье святого,
Что гордится своей чистотой?
Или там, где немотствует слово,
Задыхаясь под жесткой пятой?

Или там, где рождаются люди,
Любят, чахнут и грезят в бреду —
В этом тусклом и будничном блюде,
В этом истинно райском саду!

1960

ЧЕЛОВЕК В ТОЛПЕ

Там, где смыкаются забвенье
И торный прах людских дорог,
Обыденный, как вдохновенье,
Страдал и говорил пророк.

Он не являл великолепия
Отверженного иль жреца,
Ни язв, ни струпов, ни отрепья,
А просто сердце мудреца.

Он многим стал бы ненавистен,
Когда б умели различать
Прямую мощь избитых истин
И кривды круглую печать.

Но попросту не замечали
Среди всемирной суеты
Его настойчивой печали
И сумасшедшей правоты.

1961

ПЕРВЫЙ МОРОЗ

Когда деревья леденит мороз
И круг плывет, пылая над поляной,
Когда живое существо берез
Скрипит в своей темнице деревянной,

Когда на белом, пористом снегу
Еще белее солнца отблеск ранний, —
Мне кажется, что наконец могу
Стереть не мною созданные грани,

Что я не вправе без току тускнеть
И сердце хитрой слабостью калечить,
Что преступленье — одеревенеть,
Когда возможно все очеловечить.

1961

НОЧНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ

На недельку укрытый войною
Далеко от границ,
На печи спит к хозяйке спиною
В белых трусиках фриц.

А сейчас у хозяйки в избенке —
Неожиданный гость.
Взад-вперед ходит-прыгает звонкий
В рукомойнике гвоздь.

Этот гость, — разве он посторонний?
Он вернулся сюда!
И бежит, и дрожит на ладони
Ледяная вода.

1961

НА ДАЧАХ

В дачной роще, весною расписанной,
Занялись колдовством соловьи,
И распутник с бугристой лысиной
Говрит: — Такова се-ля-ви.

Вновь поверив забытым утопиям,
Ищет признак, нет, призрак весны,
И дурманит его, словно опиум,
Молодой ветерок новизны.

А за дачей, как девки на выданье, —
Три сестры из семейства берез,
И пасутся коровы на выгоне:
У людей отобрал их колхоз.

Их кустарников колют иголки,
Недозрелая травка горька,
Нарисована карта на телочке —
Неизвестного материка.

Если б с дальних планет, как эринии,
Космонавты на землю сошли,
То, наверно, б коров они приняли
За печальных владельцев земли.

Но с какою тоской и тревогою
Набредли бы в тиши этих мест
На оседлую стаю двуногую,
Что и ноет, и доит, и ест.

1961

СПЕКУЛЯНТКА

Нестарая гражданка,
Москвичка из Филей,
Приносит спекулянтка
Пуловер и филей.

Столичный люд напорист,
Живет и мрет в трудах.
С утра — подземный поезд,
С утра — в очередях.

Ей дали год условно,
А влепят крепких пять.
Но спросишь, — невиновна,
И глупо обвинять.

Был дешев хлеб мамани,
У мужа он в цене.
Грядущий день в тумане,
А нынешний — в окне,

Весь в облаках, кудлатый,
Плывет, плывет в окне,
В одной, отдельно взятой,
В родной моей стране.

1961

ЧАСТУШКА

С недородами, свадьбами, плачами
Да с ночными на скромных лугах,
Вековала деревня у Пачелмы
В баснословных российских снегах.

Перемучили, переиначили
Все, что жило, росло и цвело.
Уж людей до того раскулачили,
Что в кулак животы посвело.

И — бежать! Хоть ловили на станции,
Крестный-стрелочник прятал до звезд.
Слава Богу, живем не во Франции, —
За пять тысяч очухались верст.

Где в штанах ходят бабы таджицкие,
Где на троицу жухнет трава,
Обкибитились семьи мужицкие,
И записаны все их права.

Все курносые и синеглазые
Собираются в день выходной,
И на дворики веточки Азии
Плачут вместе с частушкой хмельной.

Дюшанбе. 1961

ПУСТОТА

Мы знаем, что судьба просеет
Живущее сквозь решето,
Но жалок тот, кто сожалеет,
Что превращается в ничто.

Не стал ничтожным ни единый,
Хотя пустеют все места:
Затем и делают кувшины,
Чтобы была в них пустота.

1966

ЛЕЗГИНКА

Пир, предусмотренный заранее,
Идет порядком неизменным.
В селенье выехав, кампания
Весельем завершает пленум.

Пальто в автобусе оставили,
Расположились за столами.
Уже глаголами прославили
То, что прославлено делами.

Уже друг друга обессмертили
В заздравных тостах эти люди.
Уже и мяса нет на вертеле,
А новое несут на блюде.

Уже звеня — как жало узкое,
Доходит музыка до кожи.
На круг выходит гостья русская,
Вина грузинского моложе.

Простясь на миг с манерой бальной,
С разгульной жизнью в поединке,
Она ракетой глобальной
Как бы взвивается в лезгинке.

Она танцует, как бы соткана
Из тех причин, что под вагоны
Толкали мальчика Красоткина
Судьбы испытывать законы.

Танцует с вызовом мальчишечьим,
Откидываясь, пригибаясь,
И сразу двум, за нею вышедшим,
Но их не видя, улыбаясь.

Кк будто хочет этой пляскою
Неведомое нам поведать
И вместе с музыкой кавказскою
Начало бытия изведать.

И все нарочное, порочное
Исчезло или позабыто,
А настоящее и прочное
Для нас и для нее раскрыто.

И на движенья грациозные
Приезжей, тонкой и прелестной,
Глядят красавицы колхозные,
Притихший сад породы местной.

Сухуми. 1962

СТАРОСТЬ

В привокзальном чахломе скверике,
В ожидании дороги,
Открывать опять Америки,
Подводить опять итоги,

С молодым восторгом каяться,
Удивленно узнавая,
Что тебя еще касается
Всей земли печаль живая,

И дышать свободой внутренней
Тем жадней и тем поспешней,
Чем сильнее холод утренний —
Той, безмолвной, вечной, внешней.

Тбилиси. 1962

ДАО

Цепи чувств и страстей разорви,
Да не будет желанья в крови,

Уподобь свое тело стволу,
Преврати свое сердце в золу,

Но чтоб не было сока в стволе,
Но чтоб не было искры в золе,

Позабудь этот мир, этот путь,
И себя самого позабуди.

1962

ТЕНИ

Люди разных наций и ремесел
Стали утонченней и умней
С той поры, как жребий их забросил
В парадиз, в Элизиум теней.

Тихий сонм бесплотных, беспартийных,
Тени, тени с головы до пят,
О сонетах, фугах и картинах,
И о прочих шутках говорят.

Этот умер от плохого брака,
Тот — когда повел на битву Щорс,
Та скончалась молодой от рака,
Тот в тайге в сороковом замерз...

Притворяются или забыли?
Все забыли, кроме ерунды,

Тоже ставшей тенью чудной были,
Видимостью хлеба и воды.

А один и впрямь забыл былое,
И себя забыл. Но кем он был?
Брахманом ли в зарослях алоэ?
На Руси родился и любил?

Он привык летать в дурное место,
Где грешат и явно, и тайком,
Где хозяйка утром ставит тесто,
Переспав с проезжим мужиком,

Где обсчитывают и доносят,
И поют, и плачут, и казнят,
У людей прощения не просят,
А у бога — часто невпопад...

Он глаза, как близорукий, щурит,
Сияясь вспомнить некий давний день,
И, своих чураясь, жадно курит
Папиросы призрачную тень.

1962

РОЖДЕСТВО

В том стандартном поселке,
Где троллейбус кончает маршрут,
В честь рождественской елки
Пляшут, пьют и поют.

В доме — племя уборщиц,
Судомоек и нянь из больницы,

Матерщинниц и спорщиц,
Работяг и блудниц.

Не ленивы, как будто,
Не бегут от шитья и мытья,
Но у них почему-то
Не бытуют мужья.

У красивой Васены
Настроенье гулять и гулять.
Аппарат самогонный
Поработал на-ять.

В деревенских частушках
Есть и воля, и хмель, и метель.
В разноцветных игрушках
Призадумалась ель.

Сын смеется: „Маманя,
Ты не видишь, что рюмка пуста!”
И глаза ей туманя,
Набегает мечта.

А на небе сыночка
В колыбели качает луна,
Словно мать-одиночка,
Ожиданья полна.

1963

МОЛЧАШИЕ

Ты прав, конечно. Чем печаль печальней,
Тем молчаливей. Потому-то лес

Нам кажется большой исповедальней,
Чуждающейся выпренных словес.

Есть у деревьев, лиственных и хвойных,
Бесчисленные способы страдать
И нет ни одного, чтоб передать
Свое отчаянье... Мы, в наших войнах

И днях затишья, умножаем чад
Речей, ругательств, жалоб и смятений,
Живя среди чувствительных растений,
Кричим и плачем... А они молчат.

1963

ВИЛЬНЮССКОЕ ПОДВОРЬЕ

Ни вывесок не надо, ни фамилий.
Я все без всяких надписей пойму.
Мне камни говорят: „Они здесь жили,
И плач о них не нужен никому.”
А жили, оказалось, по соседству
С епископским готическим двором,
И даже с ключарем — святым Петром,
И были близки нищему шляхетству,
И пан Исус, в потертом кунтуше,
Порою плакал и об их душе.

Теперь их нет. В средневековом гетто
Курчавых нет и длинноносых нет.
И лишь в подворье университета,
Под аркой, где распластан скудный свет,
Где склад конторской мебели, — неожиданно
Я вижу соплеменников моих,
Недвижных, но оставшихся в живых,

Изваянных Марию, Иоанна,
Иосифа... И слышит древний двор
Наш будничный, житейский разговор.

1963

СЕНО

Избы чуть видны за перелеском,
Чуть слышны растений голоса,
А в траве блестит запретным блеском
С робостью звенящая коса.

Рано утром тайно косят сено
Девочка и тощий инвалид.
Их лошадка держится степенно
И, как соучастница, молчит.

Трое на меня взглянули разом,
Двое вдруг прервали разговор,
У меня же к тем житейским фразам,
Как на грех, пристрастье с давних пор.

Но вдали — железный шум дороги,
Но густеют в небе облака,
Полные бахвальства и тревоги,
Как письмо закрытое Цека.

1963

ПАССАЖИР ПАРОХОДА

Я один. Накопились деньжата,
И себе я позволить могу
Путешествовать, пусть небогато,
И грустить на своем берегу.

Мне подруга не машет рукою,
Мне товарищи писем не шлют,
Только время стучится порою
Влажным стуком о стены кают.

Кроме папки в столе на Лубянке,
Никому я не нужен в стране,
Лишь порой пароходные склянки
Что-то вспомнить хотят обо мне.

Теплоход „Шевченко”
1963

ОСЕНЬЮ В РОДНОМ ГОРОДЕ

Давно ли в детстве, под осенним небом,
Зажег я огонечек — мысль свою?
Давно ли встал я в очередь за хлебом?
Состарился, а все я в ней стою.

Не выбросили ни крупы, ни масла,
А мысль упала в море и погасла,
Без мысли тяжелеет голова,
Полна державных, вздорных суеверий,
И в громкоговорителе на сквере
Шуршат слова, как сгнившая листва.

Одесса. 1963

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ПРИЕМ ПЕРЕД КОНЦЕРТОМ

Деревья Азии поникли,
Но под дождем
Водители скучать привыкли,
Не входят в дом.

Не видит и не слышит дача,
Что выпал град.
Идет прием. Идет раздача
Ласк и наград.

Писатель, захмелевший быстро,
Затосковал.
К стегну красавицы-министра
Льнет аксакал.

Номенклатурная окрошка
Из высших сфер.
Хз хора Пятницкого крошка
Блюет в фужер.

Речь первого: „Всему основа —
Народ-творец...”
Концерт начнется в полвосьмого.
Потом — конец.

1964

ШЕЛКОВИЦА

Как только в городской тиши
Ко мне придет полубессоница,

Ночная жизнь моей души,
Как поезд, постепенно тронется.

И в полусне и в полумгле
Я жду, что поезд остановится
На том дворе, на той земле,
Где у окна росла шелковица.

Себя, быть может, обелю,
Когда я объясню старением,
Что это дерево люблю
Лишь с детским, южным ударением.

Иные я узнал дворы,
Сады, и площади, и пагоды,
Но до сих пор во рту остры
И пыльно-терпки эти ягоды.

И злоба отошедших дней,
Их споры, их разноголосица,
Еще больней, еще родней
Ко мне — в окно мое доносится.

Назад, к началу, к той глуши,
Где грозы будущего копятя,
Ночная жизнь моей души
Безостановочно торопится.

Мы связаны на всем пути,
Как связаны слова пословицы,
И никуда мне не уйти
От запывлившейся шелковицы.

1965

У МОРЯ

Шумели волны под огнем маячным,
Я слушал их, и мне морской прибой
Казался однозвучным, однозначным:
Я молод был, я полон был собой.

Но вот теперь, иною сутью полный,
Опять стою у моря, и опять
Со мною разговаривают волны,
И я их начинаю понимать.

Есть волны-иволги и волны-прачки,
Есть волны-злыдни, волны-колдуны.
Заклятьями сменяются заплачки
И бранью — стон из гулкой глубины.

Есть волны белые и полукровки,
Чья робость вдруг становится дерзка,
Есть волны — круглобедрые торговки,
Торгующие кипенью с лотка.

Одни трепещут бегло и воздушно,
Другие — тугоумные умы...
Природа не бывает равнодушна,
Всегда ей нужно стать такой, как мы.

Природа — переводческая калька:
Мы подлинник, а копия она.
В былые дни была иною галька
И по-иному думала волна.

Одесса. 1965

ЕРЕВАНСКАЯ РОЗА

Ереванская роза
Мерным слогом воркует,
Гармонически плачет навзрыд.
Ереванская проза
Мастерит, и торгует,
И кричит, некрасиво кричит.

Ереванскую розу —
Вздых и целую фразу —
Понимаешь: настолько проста.
Ереванскую прозу
Понимаешь не сразу,
Потому, что во всем разлита —

В старике, прищемившем
Левантийские четки
Там, где брызги фонтана летят,
В малыше, устремившем
Свой пытливый и кроткий,
Умудренный страданием взгляд.

Будто знался он с теми,
Чья душа негасима,
Кто в далеком исчез далеке,
Будто где-то в эдеме
Он встречал серафима
С ереванскою розой в руке.

Ереван. 1965

ПО ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫМ БИЛЕТАМ

Лесных массивов кривотолки
В угрюмых записав досье,

В концертный зал приходят волки,
Где их смешит конферансье,

Где их приводит в умиление
Мальчишеский квинтет ягнят,
Где зайцы в первом отделении,
Как зарубежные звенят,

Где восхитительные позы
Приняв и восхитив обжор,
Поют, отплясывая, козы —
Архангельский девичий хор.

Актерам нечего страшится, —
Пусть будет на душе легко,
Покуда хлопает волчица
Немому птенчику в трико.

1965

ДРОЗД

Заглушая грохот завода
И гуденье грузовика,
Низвергается с небосвода
Полуварварская река.

Воин Ксеркса и Македонец
Озирали ее валы,
И доносится топот конниц
Из былого, из дальней мглы.

Слышишь? Ярость движения множит
Громовержающая вода,

А никак обогнать не может
Песню маленького дрозда.

В простодушной своей гордыне
Он, как видно, не сознает,
Что он спорит с рекой в теснине,
И не ведает, что поет

О сегодняшнем, о грядущем, —
А река дрожит и с трудом
Поспевает вслед за поющим,
Эту дрожь внушившим дроздом.

Варзоб. 1965

ПРИТЧА ОБ ОСЛЕ

Подражание немецкому.

Осел идет вперед, повозку ташит,
Воображая,
Что он достигнет неба, где обрящет
Блаженство рая,

Где все ослы избавятся от тягот
И мордобоя,
Где львы и волки с ними рядом лягут
У водопоя.

И было так: один режим сменялся
Другим режимом,
Но свод небес, как прежде, оставался
Недостижимым.

Осел с поклажей двигался устало,
Но постепенно
Его питать в дороге перестало
Надежды сено.

Тогда, чтоб не свалил страдальца голод,
Ему сказали,
Что не на небе, — на земле тот город,
Где нет печали,

Где нет нужды, просторы многотравны
И благовонны,
Где нет бича, все твари равноправны,
Добры законы.

Осел поверил, — с горя, с перепугу
не понимая,
Что он все время движется по кругу,
И боль немая

Ему не открывала правды жесткой:
„Безумной целью
Ты одержим. Плетешься не с повозкой,
А с каруселью.

На ярмарке на ней кружились боги,
Ушли отселе,
И позабыли, разумом убоги,
О карусели.”

И вот осел все вертится по кругу,
Воображая,
Что движется к сияющему лугу,
К блаженству рая.

1965

ВОЖАТЫЙ КАРАВАНА

Подражание Саади

Звонков залиvistых тревога
заныла слишком рано, —
Повремени еще немного, вожатый каравана!

Летит обугленное сердце
за той, кто в паланкине,
А я кричу, и крик безумца —
столп огненный в пустыне.

Из-за нее, из-за неверной,
моя пылает рана, —
Останови своих верблюдов,
вожатый каравана!

Ужель она не слышит зова?
Не скажет мне ни слова?
А впрочем, если скажет слово,
она обманет снова.

Зачем звенят звонки измены,
звонки ее обмана?
Останови своих верблюдов,
вожатый каравана!

По-разному тоскуют люди,
о смерти рассуждая,
Про то, как с телом расстаётся
душа, душа живая.

Мне толки слушать надоело,
мой день затмился ночью!
Исход моей души из тела
увидел я воочью!

Она и лживая — желанна,
и разве это странно?
Останови своих верблюдов,
вожатый каравана!

1966

ПОЭЗИЯ

Старые прописи не перелистывай,
Новых на них не черти закавык,
Жалко-расчетливой, мощно-неистойвой
Слушай толпы многозначный язык.

Ты повтори ее слово базарное,
Хитрость безумцев и ум простаков.
Так повторяет сиянье полярное
Все очертанья земных берегов.

1966

ВЕЧНЫЙ ДЕНЬ

Пятая книга

Стихотворения 1966-1972 годов

ДВЕ ЕЛИ

В лесу, где сено косят зимники,
Где ведомственный детский сад
Шумит впад и невпад, —
Как схиму скинувшие схимники,
Две ели на холме стоят.

Одна мне кажется угрюмее
И неуверенней в себе.
В ее игольчатой резьбе
Трепещет светлое безумие,
Как тихий каганец в избе.

Другая, если к ней притащатся
Лягушка или муравей,
Внезапно станет веселей.
Певунья, нянюшка, рассказчица,
Сдается мне, погибли в ней.

Когда же мысль сосредоточится
На главном, истинном, живом, —
Они ко мне всем существом
Потянутся, и так мне хочется
И думать, и молчать втроем.

1966

У МАГАЗИНА

Квартал на дальнем западе столицы,
Где с деревенским щебетаньем птицы
На вывеску садятся торопливо,
Заметив, что вернулись продавщицы
С обеденного перерыва.

В тени, у обувного магазина, —
Свиданье: грустный, пожилой мужчина
С букетиками ландышей в газете
И та, кто виновато и невинно
Сияет в летнем, жгучем свете.

О робость красоты сорокалетней,
Тяжелый, жаркий блеск лазури летней,
И вечный торг, и скудные обновы,
О торжество над бытом и над сплетней
Прасущества, первоосновы!

1967

ПОДРАЖАНИЕ МИЛЬТОНУ

Я — начало рассказа
И проказа племен.
Адским пламенем газа
Я в печи обожжен.

Я — господняя бирка
У земли на руке,
Арестантская стирка
В запредельной реке.
Я — безумного сердца
Чистота и тщета.

Я — восторг страстотерпца,
Я — молитва шута.

1967

УРОЧИЩЕ

Там, где жесткая Сибирь
Очарована нирваной,
Есть буддийский монастырь
Оловянно-деревянный.

Кто живет на том дворе,
И какие слышат клятвы
И молитвы на заре
Маленькие бодисатвы?

Там живут среди живых
Скорбно мыслящие будды,
И сжимаются у них
Коронарные сосуды.

Что им будущего храм?
Что им пыльный хлам былого?
Жаль им только старых лам,
Растерявших мысль и слово.

И на небе мысли нет;
Там, с безумьем оробелым,
Черный цвет и серый цвет
Двигутся на битву с белым.

Не вникают старики
В эти бранные тревоги,

И тускнеют от тоски
Металлические боги.

1967

ВЕЛЬЗЕВУЛ

На лужайке лесопарка,
Где в траве трепещет свет,
Из растений сделан ярко
Видный издали портрет.

И пугает мир зеленый,
Посреди смиренных рощ,
Вельзевуловой иконы
Государственная мощь.

1967

МЕСТЕЧКО

Ручеек мелкий-меленький
Льется в горькое лето.
Это снится мне в Жмеринке
Или западней где-то?

Как штандарт гайдаматчины,
Всюду высь голубая.
Облака озадачены,
В суть событий вникая.

Ветер сыплет на бороды
Тихий пух тополиный,

Будто саблями вспороты
Все подушки-перины.

Местечковая мистика
Тополей или вязов
До последнего листика —
Из подобных рассказов.

1967

ИСТОКИ

Когда соловый конь батыев
Еще не начал Русь топтать, —
Нет, не случайно выбрал Киев
Восточной церкви благодать,
И не случайно в избах старых
Востоком веют образа,
И помнят о коварных чарах
Их азиатские глаза.

Когда к златоордынским ханам
С ясаком ездил русский князь,
И мысль, одетая туманом,
Еще для мира не зажглась,
И плеть ногайская хозяев
Гуляла по задам дворян, —
Уже имелись Чаадаев
И аракчеевский аркан.

А Грузия, сестра славянства,
Такой же приняла обет,
Но яд восточный мусульманства
Пила, как сладостный шербет.
В ее задавленном размахе,

В ее отравленной душе
Разбойник проступал в монахе
И царедворец в торгаше.

Кто понял облик произвола?
Кого на свет он произвел?
Ростком церковного раскола
Второго съезда был раскол.
Кто победил в кровавом споре?
Кто приготовил нам загон?
Родился Джугашвили в Гори.
В Симбирске Сталин был рожден.

1967

МОИСЕЙ

Тропою концентрационной,
Где ночь бессонна, как тюрьма,
Трубой канализационной,
Среди помоев и дерьма,

По всем немецким и советским,
И польским, и иным путям,
По всем печам, по всем мертвецким,
По всем страстям, по всем смертям, —

Я шел. И грозен и духовен,
Впервые Бог открылся мне,
Пылая пламенем газoven
В неопалимой купине.

1967

СОВРЕМЕННОСТЬ

Мы заплатили дорогой ценой
За острое неверие Вольтера;
Раскатом карманьёлы площадной
Заглушены гармония и мера;

Концлагерями, голодом, войной
Вдруг обернулась Марксова химера;
Все гаснет на поверхности земной, —
Не гаснет лишь один светильник: вера.

В светильнике нет масла. Мрак ночной —
Без берегов. И все же купиной
Неопалимой светим и пылаем.

И блещет молния над сатаной,
И Моисея жжет пустынный зной,
И Иисус зовет в Ерушалаим.

1967

ПАМЯТНОЕ МЕСТО

Маляр, баварец белокурый,
В окне открытом красит рамы,
И веет от его фигуры
Отсутствием душевной драмы.

В просторном помещенье печи
Остыли прочно и сурово.
Грядущих зол они предтечи
Иль знаки мертвого былого?

Слежу я за спокойной кистью
И воздух осени вдыхаю,
И кружатся в смятенье листья
Над бывшим лагерем Дахау.

1967

ЗОЛА

Я был остывшею золой
Без мысли, облика и речи,
Но вышел я на путь земной
Из чрева матери — из печи.

Еще и жизни не поняв
И прежней смерти не оплавав,
Я шел среди баварских трав
И обезлюдевших бараков.

Неспешно в сумерках текли
„Фольксвагены” и „мерседесы”,
А я шептал: „Меня сожгли.
Как мне добраться до Одессы?”

1967

ОТСТРОЕННЫЙ ГОРОД

На память мне пришло невольно
Блокады черное кольцо,
Едва в огнях открылось Кельна
Перемещенное лицо.

Иль не един разноплеменный
Сей мир, и все его двуногие миры?

На узкой улице прочел я след ноги
Увековеченный, — и понял страшный принцип
Столетия нашего, я услышал шаги

И выстрел твой, Гаврила Принцип,
Дошедшие до нас, до тундры и тайги.

Когда в эрцгерцога ты выстрел произвел,
Чернорубашечный поход на Рим насытил
Ты кровью собственной, раскол марксистских
школ

Ты возвестил, ты предвосхитил
Рев мюнхенских пивных и сталинский глагол.

Тогда-то ожили понятие вождей,
Камлание жреца — предвиденья знамена,
Я здесь, в Сараеве, почувствовал больней,
Что мы вернулись в род, в колено,
Сменили стойбищем сообщество людей...

Всегда пугает ночь, особенно в чужом,
В нерусском городе. Какая в ней тревога!
Вот милицейские машины за углом,
Их много, даже слишком много,
И крики близятся, как равномерный гром.

Студенты-бунтари нестройный режут круг
Толпы на площади, но почему-то снова
К ней возвращаются. Не силу, а недуг
Мятежное рождает слово,
И одиноко мне, и горько стало вдруг.

1968

ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ

В его душе давно остыл восторг,
Он прозябал в забвенье много лет,
Пришел конец, — и на задворках морг,
И он в гробу причесан и одет.

С трудом собрали два десятка лиц,
Чтоб сжечь пристойно одинокий прах,
И двигался автобус вдоль больниц,
Сквозь гомон птиц в строительных лесах,

И в стекла иногда вливалась высь
Всею влагой вечерющей зари...
Чтоб много сделать, вовремя родись,
Чтоб не погаснуть, вовремя умри.

1968

КИПАРИС

За листвою, зеленеющей в зное,
Дышит море и бледен закат.
Я один, но со мной — эти двое:
Воробы в кипарисовой хвое
Серым тельцем блаженно дрожат.

Хорошо моим братикам младшим
В хрупкой хижине, в легкой тени,
И акация ангелом падшим
Наклоняется к иглам увядшим,
И, смутясь, ей внимают они.

Не о них ли душа укололась?
Не таит ли в себе кипарис

Твой тревожный, тревожащий голос
И улыбку, в которой веселость
И восточная горечь слились?

Ведь и я одарен увяданьем,
И на том эти ветви ловлю,
Что они пред последним свиданьем
С грустной завистью и ожиданьем
Смотрят: вправду ль живу и люблю?

1969

х х х

Как ты много курила!
Был бессвязен рассказ.
Ты, в слезах, говорила
То о нем, то о нас.

Одинокие тучки
Тихо шли за окном.
Ты тряслась, как в трясушке,
На диване чужом.

Комнатенку мы сняли,
Заплатили вперед,
Не сказали, но знали,
Что разлука придет,

Что на лифте взберется
На десятый этаж,
И во всем разберется,
И себя ты предашь,

И со мною не споря,
Никого не виня,
С беспощадностью горя
Ты уйдешь от меня.

1969

УЗНАВАНИЕ

Подумал я, взглянув на белый куст,
Что в белизне скрывается Ормузд:

Когда рукой смахнул я снег с ветвей,
Блеснули две звезды из-под бровей.

Подумал я, что тихая сосна
В молитвенный восторг погружена:

Когда рукой с нее смахнул я снег,
Услышал я твой простодушный смех.

Я узнаю во всем твои черты.
Так что же в мире ты и что не ты?

Все, что не ты, — не я и не мое,
Ненебо, неземля, небытие,

А все, что ты, — и я, и ты во мне,
И мир внутри меня, и мир вовне.

1969

ЮЖНЫЕ ЦЕРКВИ

Есть Углич и Суздаль,
Чьи храмы прославлены,
Полно ли там, пусто ль, —
А в вечность оправлены.

Как музыка рощи,
Их многоголосие...
Есть церкви попроще
У нас, в Новороссии.

Не блещут нарядом,
Как мазанки — синие,
С базарами рядом
Те южные скинии.

Их камни в тумане
Предутреннем нежатся,
И в карты цыгане
За садиком режутся.

Как снасть рыболова,
Как труд виноградаря,
Здесь движется слово,
Лаская и радуя.

И нет здесь ни древа
Царей и ни древности, —
Лишь святость напева,
Лишь воздух душевности.

И лирника лира
Жужжит, сердцу близкая,
И пахнет не мирра —
Трава киммерийская.

1969

ИЗ РОМАНСА МОЕГО ДЕТСТВА

Модистка, милый франт,
В петлице красный бант,
Осенний теплый день,
Трактир „Олень”...

Какая жизнь была,
Какая жизнь была,
Когда Володя Бланк
Пошел ва-банк.

1969

УЧИТЕЛЬ

Ишачит дочь-невеста
В конструкторском бюро.
Освободится место, —
Сажусь, как царь, в метро.

Преподаю в четвертом
Историю Руси.
Пью чай с творожным тортом,
Включаю би-би-си.

Удачно гладиолус
Цветет в моем горшке,
А заглушенный голос
Мне говорит в тоске,

Что предстоит нам, братцы,
Лихая полоса,
Что ветер депортаций
Бьет в наши паруса,

Что стану братом буре,
Сородичем сычу, —
Авось в комендатуре
Я пропуск получу.

1969

СУД

Понимая свое значенье,
Но тщеславием не греша,
В предварительном заключенье
Умирает во мне душа.

Умирает, и нет ей дела
До кощунственного ума.
Но когда ж разверзнется тело —
Государственная тюрьма?

Производится ли дознание,
Не дают ли ей передач,—
Помогает ей жить сознание,
Что по ней есть печаль и плач,

Что прекрасен многоголосый
Мир зеленый и голубой...
Но идут ночные допросы,
Продолжается мордобой,

И пора из тюрьмы телесной
Ей на волю выйти в гробу.
Что решит судия небесный?
Как устроит ее судьбу?

Дальше ада, но ближе рая
Возвышается перевал.
Кто же к мертвой душе взывал?
„Это я по тебе, родная,
Горько плакал и тосковал”.

1969

В НАЧАЛЕ ПОРЫ

Если верить молве, —
Мы в начале поры безотрадной.
Снег на южной траве,
На засохшей лозе виноградной,
На моей голове.

Днем тепло и светло,
Небеса поразительно сини,
Но сверлит как сверло
Мысль о долгой и скудной пустыне,
На душе тяжело.

И черны вечера,
И утра наливаются мутью.
Плоть моя — кожа.
Но чего же я жду всю сутью,
Всею болью ядра?

1969

ОДЕССКАЯ СИНАГОГА

Обшарпанные стены,
Угрюмый, грязный вход.
На верхотуре где-то
Над скинией завета
Мяучит кот.

Раввин каштаноглазый —
Как хитрое дитя.
Он в сюртуке потертом,
И может спорить с чертом
Полушутя.

Сегодня праздник торы,
Но мало прихожан.
Их лица — как скрижали
Корысти и печали...
И здесь обман?

И здесь бояться надо
Унылых стукачей?
Шум, разговор банальный,
Трепещет поминальный
Огонь свечей.

Но вот несут святыню —
И дрогнули сердца.
В том бархате линиялом —
Все, ставшее началом,
И нет конца!

Целуют отрешенно,
И плача, и смеясь,
Не золотые слитки,
А заповедей свитки,
Суть, смысл и связь.

Ты видишь их, о Боже,
Свершающих круги?
Я только лишь прохожий,
Но помоги мне, Боже,
О, помоги!

Одесса 1969

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ МИЦРАИМА

Гладит бога, просит, чтоб окрепла,
Женщина, болящая проказой,
Но поймет ли, что такое лепра,
Этот идол, крупный и безглазый?

Воздух пахнет знойно, пыльно, пряно,
Горяча земля и нелюдима,
И смеются люди каравана,
По всему видать, — из Мицраима.

Только мальчик в стираном хитоне
Слез с верблюда на песок сожженный,
И его прохладные ладони
Ласково коснулись прокаженной.

Он сказал: „Не камню истукана, —
Это мне слова ее молений”.
И пред Богом люди каравана
Радостно упали на колени.

1969

х х х

Листья бука, побитые градом,
На меня не смотрите с укором,
Листья бука, побитые градом, —
Есть судьба и пожестьче.
Я б хотел умереть с вами рядом,
Умереть вон за тем косогором,
Я б хотел умереть с вами рядом
В той кизиловой роще.

1970

МОНАСТЫРСКИЕ СТЕНЫ

Висит ледяная глыба,
Обвалом грозит зима
Владимирского пошиба
И суздальского письма.

Что думает заключенный,
Какой он чувствует век
В тюрьме, где творят иконы
Рублев или пришлый грек?

Вздыхает князек опальный,
Состарен стражей двойной
За насыпью привокзальной,
За грязной, длинной стеной.

Фельдмаршал третьего рейха
Сидит на скудном пайке
И чудной кисти еврейка
Глядит на него в тоске.

А более горький пленник,
На тех же ранен фронтах,
Ее живой современник,
Всей болью пишет впотьмах.

Владимир. 1970

ВОСКРЕСНОЕ УТРО В ЛЕСУ

Где, кузнечики, прятались вы до утра?
В той соломенной, что ли, сторожке?
И не вы ли, серебряных дел мастера,
Изготовили травам сережки?

Всюду птичьих базаров ганзейский союз,
Цехи тварей лесных и растений,
И, кустарь средь кустарников, я не боюсь
Ни чужой и ни собственной тени.

Предвечерние звоны незримо зовут,
Стали птицы и листья душевней.
Все мне кажется: входит ремесленный люд
Под веселые своды харчевни.

Все мне кажется: вьются былинки у губ
То с присловьем, то с шуткою хлесткой,
И толкует о тайном сообществе дуб
С молодой белошвейкой-березкой.

1970

ПРОСЕКА

Лес подходит к строению так близко —
Не протиснешь меж ними ладонь.
В мураве дотлевает записка
И затерян игрушечный конь.

Не в одном ли мы старимся доме?
Не одну ли торим колею?
И себя, как в семейном альбоме,
В этой просеке я узнаю.

1970

ПОДОБИЕ

И снова день, самовлюбленный спорщик,
Вскипает в суете сует,
И снова тень, как некий заговорщик,
Тревожно прячет зыбкий след,
Вновь над прудом склонился клен-картежник,
В воде двоится лист-валет...
Да постыдись ты наконец, художник,
С предметом сравнивать предмет!
Тому, кто помышляет о посеве,
В подобье надобности нет,
Как матери, носящей семя в чреве,
Не нужен первенца портрет.

1970

х х х

То не ты ли России лапотной
Говорил: „Погибай как класс!”?
То не ты ль Украине Западной
Возвещал звериный приказ?

То не ты ли кланялся гадинам
Ради выгоды небольшой,
Торговал и своим, и краденым,
И своей душой, и чужой?

Можешь с горя-тоски повеситься,
Можешь плакать, пьяно крича, —
Ты ли вправе судить эсесовца?
Ты ли вправе судить палача?

И не смей с исступлением жреческим
Ты гордиться в храме святом,
А господним ли, человеческим —
Лишь себя ты суди судом.

1970

СЕЗАНН

Опять испортил я картину:
Не так на знойную равнину
Карьер отбрасывает тень.
Пойду, стаканчик опрокину,
Трухлявый, старый пень.

А день какой заходит в мире!
У землекопов в их трактире,
Неспешно пьют и не хитрят.

Я с детства не терпел цифири,
И вот — мне шестьдесят.

Нужна еще одна попытка:
Свет обливает слишком жидко
Два яблока, что налились.
Художник пишет, как улитка
Свою пускает слизь.

Сын пекаря Иоахима
Мне говорит: „Непостижимо
Полотен ваших колдовство”.
Я, дурень, плачу... Мимо, мимо,
Нет рядом никого!

Ко мне, — прости меня, Вергилий, —
Как слезы к горлу, подступили
Все неудачи долгих лет.
„Довольно малевать мазиле!” —
Кричат мне дети вслед.

Я плачу. Оттого ли плачу,
Что не могу решить задачу,
Что за работою умру,
Что на земле я меньше значу,
Чем листик на ветру?

Жизнь — штука страшная. Но в кисти
Нет рабства, низости, корысти.
Взгляни, какая вышина,
Каким огнем бушуют листья,
Как даль напряжена!

1971

ПИСАТЕЛЬ

Закат розовеет к морозу,
А там, над застывшим прудом,
Он выбрал удобную позу
И смотрит, как строится дом.

За что-то, — причем троекратно, —
Его исключили, — причем,
Теперь не заманишь обратно
Его никаким калачом.

Он будущих нанял соседей:
Помогут развеять беду.
Он думает: „Хватит трагедий,
Я здесь поживу, пережду”.

Вдали от железной дороги
Деревня в снегах залегла,
И скоро циклопом в берлоге
Уснет одноглазая мгла.

Но рашпилю вторит рубанок,
Но слышно скрипение пил:
„О сколько за полем времянок —
И старых, и новых могил!”

1971

СПУСК В ГАВАНЬ

Медовый месяц нэпа.
Вечерняя лиловь.
Выходит из вертепа
Усталая любовь.

Порывисто и редко
Дыханье ветерка.
На ней висит горжетка
С головкою зверька.

А вправду ли наряден
Французский пеньюар?
Подарен иль украден
Массивный портсигар?

Работать в доме тяжело,
И нужен перерыв,
И с каждой затяжкой
Ей легче... Там — обрыв,

И порт, и копошенье
Существ и их теней,
Вдали — кровосмешенье
Звезд и земных огней,

Здесь листьев тополиных
Замедленный полет,
И в первых брюках длинных
Мальчишка у ворот.

Болезненно и сладко
Душа истомлена,
Все для него загадка:
Порт, звезды и она.

Одесса. 1972

ПАМЯТЬ

В памяти, даже в ее глубочайших провалах,
В детскую пору иль в поздних годинах
войны,
В белых, зеленых, сиреневых, —
буйных и вялых, —
Вспышках волны.

В книгах и в шумной курилке публичной
читальни,
В темных кварталах, волшебю
сбегающих в порт,
Где пароходы недавно оставили дальний
Вест или норд.

В школе, где слышались резкие звуки
вокзала,
В доме, где прежних соседей никто
не зовет, —
Ясно виднеется все,
что судьбой моей стало,
Все, что живет.

Здесь отступили ворота от уличной
кромки,
Где расстреляли в двадцатом рабочих
парней,
Там уводили на бойню,
в тот полдень негромкий,
Толпы теней.

Можно забыть очертания букв полустертых,
Можно и море забыть и, забыв, разлюбить,
Можно забыть и живущих, но мертвых,
но мертвых
Можно ль забыть?

Одесса. 1972

КОЧЕВОЙ ОГОНЬ

Шестая книга

Стихотворения 1973-1978 годов

КОЧЕВОЙ ОГОНЬ

Четыре, как будто, столетья
В империи этой живем.
Нам веют ее междометья
Березкою и соловьем.

Носили сперва лапсердаки,
Держали на тракте корчму,
Кидались в атаки, в бараки,
Но все это нам ни к чему.

Мы тратили время без смысла
И там, где настаивал Нил,
Чтоб эллина речи и числа
Левит развивал и хранил,

И там, где испанскую розу
В молитву поэт облачал,
И там, где от храма
Спесивый синклит отлучал.

Какая нам задана участь?
Где будет покой от погонь?
Иль мы — кочевая горючесть,
Бесплотный и вечный огонь?

Где заново мы сотворимся?
Куда мы направим шаги?
В светильниках чьих загоримся
И чьи утеплим очаги?

1973

КОМИССАР

Торжествовала власть, отбросив
И опрокинув Колчака,
И в Забайкалье стал Иосиф
Работать в органах Чека.

Он вызывал к себе семейских,
Допрашивал, и подлый страх
Внушал им холодок в еврейских,
Печально-бархатных глазах.

Входил он в души староверок
Предвестием господних кар,
Молодцеватый недомерок,
Длинноресничный комиссар.

Мольбы выслушивал устало,
Сжимая кулачок у рта.
Порой губкомовцев смущала
Его святая простота.

Каким-то попущеньем странным
Он выжил. И на склоне дней
В Сибирь поехал ветераном
На полстолетний юбилей.

В глазах — все той же грусти бархат,
И так же, обхватив сучок,
Туда, где свет в тайге распахнут,
Трясаясь, глядит бурундучок.

Улан-Удэ. 1973

ЗАВОЕВАТЕЛЬ

О это море, колыбель изустных
Повествований, хроник простодушных,
О Понт Эвксинский после захолустных,
Степных местечек и закатов душных!
Великолепен мир, когда он целый,
Хотя и составной, и виден глазу
Не в перекрестьи ниточек прицела,
А широко, со всех сторон и сразу.

Мне хорошо с тобою, ветер соленый,
С Европой настоящей и не старой,
С атлантами, поднявшими балконы,
С театром у приморского бульвара.
По улицам, бегущим вниз, иду я
Наверх, легко дышу нектаром юга,
И каменного герцога минуя,
Я приближаюсь к центру полукруга.

Строенья в стиле греческих колоний,
Дух Гenuи в стенах полуразвалин,
И тот же известняк, что в Вавилоне, —
Он так же темен, порист и печален.
Бедны полупустые магазины,
Но где-то есть, я слышал, барахолка.
Все по душе мне: шумные румыны,
У церкви — старенькая богомолка...

Фурункулезный, круглый бифштекс-наци, —
Мне обер дал сегодня увольнение.
День без придилок, желчных lamentаций,
И ожиданья трезвое волнение.
С фамилией, на Вавилон похожей,
Какой-то русский написал занятно
О здешних нравах... Кто же я? Прохожий?
Завоеватель? Мутно, непонятно,

И если правду говорить, трусливо,
Ничтожно я живу. И город вскоре
Окончится, и слева, вдоль обрыва,
Рассердится невидимое море.
А справа — кладбище, тропа к спасенью.
Спят мертвые, убитые не нами.
Надгробья у стены, под мирной сенью,
Испещрены чужими именами.

Я не могу прочесть, но я их знаю, —
Те буквы, по которым наш Спаситель
Читать учился в мастерской отцовской,
А мать месила тесто и порою
Его кудрей касалась локотком.
О горе нам, в злодействе позабывшим,
Что убивать нельзя живых, покуда
О мертвых память не истреблена!

1973

ОТПУСК ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ

Вкруг столбов намотала сугробы поземка,
Смутно, мелко, сквозь сумрак мерцает село.
Ты подумай, куда занесло тебя, Семка,
Ах, куда занесло!

„Дуглас“ вырвал тебя
из кронштадтской блокады,
Сутки мерзнет на розвальнях твой чемодан,
Ты шагаешь за ним, впереди — вислозадый,
Дряхлый мерин Будан.

То ли юрты стоят, то ли избы-жибары?
То ли варится вихря и гари навар?
Там вдали — твои братья по вере хазары
Иль становья болгар?

Что же тянет тебя в сумрак снежного тыла?
Понимаешь ли сам, где родной твой очаг?
В польской пуще застыла зола и застыло
Время в русских печах.

Ах, как много в степи ветра, холода, злобы!
Это сыплется древний иль нынешний снег?
Вкруг столбов намотала поземка сугробы,
И далек твой ночлег.

1973

ПОСРЕДИНЕ ЗАПРЕТКИ

Я прочел сохраненные честью и чудом листы —
Арестанта записки:
„В этом мире несчастливы
только глупцы и скоты”, —
Вот завет декабристский.

Я пройду по земле,
как проходит волна по песку,
Поглотив свою скорость.
Сам довлея себе, я себя самого извлеку,
Сам в себе я сокроюсь.

Мне, кто внемлет владыке времен,
различать недосуг —
Где потомки, где предки.
Может быть, я умру хорошо, и убьют меня вдруг
Посредине запретки.

1973

В ПУСТЫНЕ

Как странники, в возвышенном смиренье,
Мы движемся в четвертом измеренье,
В пустыне лет, в кружении песков.
То марево блеснет, то вихрь взметнется,
То померещится журавль колодца
Среди загрязивших веков.

Идем туда, где мы когда-то были,
Чтоб наши праотческие были
Преображали правнуки в мечты,
Нам кажется, что мы на месте бродим,
Однако, земли новые находим,
Не думая достичь меты.

Всегда забудется первопроходец.
Так что же радует в пути? Колодец.
Он здесь, в пустыне, где песок, жара.
Вдруг ощущаешь время, как свободу,
Как будто эту гнилостную воду
Пьешь из предвечного ведра.

1974

ФАНТАСТИКА

Я тоже научился вздор молоть,
Как нынешние рифмачи, и эти
Подробности тускнеют в ровном свете
Потребностей, насущностей, желаний.
Но верьте, я ходил по той планете,
Где ангелы — единственная плоть
Двуногая, где на густой поляне
Беседовали меркнувшие лани

С двухмерным очертанием коня,
Где легких красок яркая возня
То отнимала зрячесть у меня,
То внутренним усиливала зреньем, —
Иль, может быть, то было озареньем?

Я начинал блаженно понимать,
Что птица и гнездо, волна и гладь,
И отблеск бабочки, едва приметный,
И клинопись в облиции растений, —
Не признаки, не знаки, не виденья:
Они вещественны, они предметны!
Умершие по воле Провиденья,
По той же воле ожили опять,
Но жизнью неземною, необычной,
В которой нет ни страсти, ни хотенья,
Которую нельзя и счесть вторичной, —
Иль высшей надобно ее признать?
И ангелы, прекрасные, как звери,
Бытующие в логовищах книг
Иль в откровеньях мифов и поверий,
Не двигались сквозь них иль мимо них,
А разговаривали с каждым бликом,
С живым иероглифом вещества,
Уверенные: эти существа
С неповторимым образом и ликом.

Не думал я, что скоро так расстанусь
Со всем, что здесь увидел, — потому-то
Увидел мало. Я заметил странность
У ангелов. Мне показалось, будто
Они боялись, — так же, как в Гоморре,
Где каперс рассыпался, цвел миндаль,
По улицам разгуливала шваль,
Кузнечик тяжелел и тяжелело
Запретное желанье в женском взоре —
Да и в мужском... В томленье и тревоге

Они крылами прикрывали ноги
И ждали сладостно и неумело
Диавола. Давно случилось дело,
Откуда же теперешний испуг?

Ни грешников, ни бесов нет вокруг,
Тиха, красива этих мест особость,
Сияние в сиянье растворилось,
Откуда же у ангелов их робость
И эта безнадежная унылость?
Иль поняли, что бесы не вовне,
Что бесы в них самих растут, томятся
Бездействием, к движению стремятся, —
Тогда-то гаснет разум на войне
И кровью агнца алтари дымятся.
Как жить при пожирающем огне?

Не останавливался взгляд на мне:
Им, брошенным в сей страшный мир Всевышним,
Им, обалделым, я, наверно, лишним
Казался, а меня меж тем влекло
Безвольное всевластье светотени,
Какое-то волшебное стекло, —
Осколки позабытых наблюдений.

Здесь было то, что я видал когда-то:
Нет, не тела и даже не дела,
А, скажем, смех, австрийского солдата,
В плену не унывавшего хорвата,
Иль дворниковы бляха и метла.
Мне кванты света память принесла, —
И друга юности я вижу снова,
Беспаспортного, умного, дурного,
Чья хата — полуночные вагоны
Да пригородный холод законный,
Вокзалы развороченной Москвы
Да лагерь, вбитый в оболонь мордвы,

Где он узнал впервые речь травы,
Которая сложнее стихов и шахмат,
И то, как люди пахнут, люди чахнут,
Потом самим себе копают рвы.
Со мной всегда и русость головы,
И беглая, надменная усмешка.
Так усмехался и другой поэт,
Гневливый мот, печальный сладкоежка...

Еще блистает из наземных лет
Мне вывеска: „Гофре, плиссе, мережка”.
А вышивальщик не терпел зеленых,
Ни белых, ни Петлюр и ни Буденных,
Ни конных, ни матросов, ни пехоту.
Был недоволен губчечкой кустарь:
„Грабеж! Они хватают на работу!
Чтоб стало хорошо, нам нужен царь!”
Вы тоже здесь? Вы здесь, мосье Дегтярь?
Ах, впрочем, вас убили. Там, на бойне.
Вы думали, что немцев ждать спокойней —
С пятью-шестью соседями — на даче:
От моря далеко, и недостачи
В продуктах не предвидится, горячий
Степной песок, чебрец, полынь и мак,
А немец — он культурный, не босяк.
Ну, будет гетто. Чем же хуже гетто,
Чем это? Боже мести и завета,
О сделай так, чтобы погубило это!

И там, как здесь, тогда кончалось лето,
И так же было тихо, но иной
Была земля объята тишиной.
Все то, что было чем-то, становилось
Ничем, — трава, песок, улыбка, вздох.
Казалось, город онемел, оглох,
И время навсегда остановилось
Для нескольких семейств. Но так казалось.

День незаметно убывал, как жалость.
А что же каждый говорил на даче
Себе, друг другу в долготе ночей?
Что сделали бы жертвы при удаче?
Могли ли превратиться в палачей?

Их даже и не выдали: к участку
Направились, как будто их вело
Заклятье или рабье ремесло —
Обожествлять приказ, указ, указку.
Они пошли, — сперва Преображенской,
А после, повернув, Херсонским спуском.
Прелестный город стал чужим, нерусским.
Пахнуло далью полудеревенской,
Лиманами... Они не взяли маму
К себе на дачу, — мол, не хватит места,
К тому же мама из другого теста,
И без нее, растрелянные, в яму
Они легли... Теперь и мама с ними —
Спокойными, иными, неземными.

Акация ли с нашего двора,
Седа, и большеглаза, и добра,
Иль мама вдруг со мной заговорила:
„Сынок, проверь: я нашу дверь закрыла?
Не то, не то... А как моя могила
На Востряковском? Все не то, не то...
Не надо думать, будто мир — Ничто:
Мы — все, и мы во всем, и все есть в нас.
Ты полюбил, сынок? Ну, в добрый час:
Уже не молодой, а в первый раз.
Как долго продолжалась к ней дорога!
Она похожа на меня немного?
Вот потому ты с ней не разминулся!”
И я рукой седых цветков коснулся:
„Любовь есть Бог. А разве можно Бога
В последний раз иль в первый раз любить?

Я вспомнил то, что пожелал забыть.
Я не пришел к любви, — я к ней вернулся.”

1974

РУССКАЯ ПОЭЗИЯ

Покуда всемирный Фердыщенко
Берет за трофеем трофей,
Уже ты на лавры не заришься,
А только бессмысленно старишься,
Мещанка, острожница, нищенка
Дворянских, мужичьих кровей.

Куда как ликующей мнимости
Слабей непреложность твоя,
А все ж норовишь ты упрочиться,
То плакальщица, то пророчица,
То ангел из дома терпимости,
То девственный сон бытия.

Строка тем косней, чем мгновеннее,
А крылья — неспешной даны.
Лишь в памяти зреет грядущее,
И ты уничтожишь забвение
Дыханьем вселенской весны.

1975

х х х

Когда болезненной душой устану
От поздней и мучительной любви,
Под старость лет пушусь по океану,
Как Иегуда Галеви.

Заблудится ль корабль и рухнет в бездну,
К разбойникам я попаду ли в плен,
В толпе ли пилигримов я исчезну,
В пыли, у глинобитных стен? —

Я твердо знаю, что исчез я прежде,
Что не было меня уже тогда,
Когда я малодушно жил в надежде
На близость Страшного суда,

А между тем служил я суесловью,
Владея немудреным ремеслом,
И слово не хотело стать любовью,
Чтобы остаться, как псалом.

1975

ИЗ ПЕТРАРКИ

CXXXVI

Fiamma dal ciel su le tue
treccie, piova...

Разорившая отцов семейства,
Обнищанием людей богата,
Будь небесным пламенем объята,
Мерзкая, чья мерзость — казначейство!

Всей земли в тебе смердит злодейство,
Превратила в скверну все, что свято,
Ты — гнездо предательств, дом разврата,
Доносительства и фарисейства!

Старцы в комнатах твоих повсюду
С девушками предаются блуду,
Вельзевул хохочет с ними рядом.

Никогда ты в люльке не лежала,
По жнивью, как сука, не бежала,
И твое дыханье стало смрадом.

1975

х х х

Когда, отбредя,
сей вертеп я оставлю глобальный,
Я знаю,
что ты не взойдешь на костер погребальный,

Как все,
ты найдешь утешение поздно иль рано:
Душевная рана еще не смертельная рана.

Но все же в тебе я останусь:
осенним ли спором,
Движеньем, привычкой,
а то и словом остроперым,

И вспомнишь ты боль
моего обожженного взгляда,
А большего мне, если правду сказать,
и не надо.

1975

ВРЕМЯ

Разве не при мне кричал Исая,
Что повергнут в гноище завет?

Не при мне ль, ахейцев потрясая,
Сказывал стихи слепой аэд?

Мы, от люльки двигаясь к могиле,
Думаем, что движется оно,
Но, живущие и те, кто жили, —
Все мы рядом. То, что есть Давно,

Что Сейчас и Завтра именуем, —
Не определяет ничего.
Смерть есть то, чего мы не минуем.
Время — то, что в памяти мертво.

И тому не раз я удивлялся,
Как Ничто мы делим на года;
Ангел в Апокалипсисе клялся,
Что исчезнет время навсегда.

1975

БОЛЬНАЯ ЗВЕЗДА

Как беспричинно вздрагивает веко,
На синем небе вздрогнула звезда,
Уязвлена, дерзка и всем чужда,
Как рыжая Кармен Тулуз-Лотрека.

Ужели здравомыслия опека,
Грехов и добродетелей вражда —
Ничто, и мир действителен, когда
Его рисует озорной калека?

Я тяготел всю жизнь к правопорядку,
Клад крепких правил каменную кладку,
И вот лежу в размытом, жухлом прахе.

Так что же, помогли мне мои ляхи?
А мир шумит, как пир, и молода
Больная безрассудная звезда.

1976

ИЗ ТЕТРАДИ

Но только тот, кто мыслью был наставлен,
Кто был рукоположен красотой,
Чей стих, хотя и на бумаге правлен,
Был переписан из бумаги той,

Где нет бумаги, букв, и где страницы
Незримы, хоть вещественней кремня, —
Увидел неожиданно зеницы,
Исторгшие на землю столп огня.

1976

НА РЕМЕСЛЕННОЙ УЛИЦЕ

По мотивам народной поэзии

На Ремесленной улице —
Ни дворцов, ни мансард.
На Ремесленной улице —
Мокрый, солнечный март.

Свет, влетающий молодо
В окна, в двери, — сперва
Превращается в золото
И восторг мастерства.

Ради радостей завтрашних,
Заповеданных всем,
Здесь работает шапошник
Удивительный шлем.

Дверь соседа распахнута,
Плащ повесил портной:
Из утрехского бархата
Изумрудный подбой.

Знаменит в околоточке,
Натянул чеботарь
Сапоги на колодочки,
А шевро — как янтарь!

Там, где узкая улица
Обожглась о багрец,
То ликует, то хмурится
В дымной кузне кузнец.

Будут, будут для рыцаря,
Для предсказанных сеч
Булава тигролицая,
И кольчуга, и меч!

Все ль готово для воина,
Чья дорога — века?
Вот окошко отворено
В мастерской скорняка.

С болью мира обширную
Связан связью родства,
Смуглый мальчик за ширмою
Сочиняет слова.

Как молитву усердную,
Он стихи говорит:

Душу, душу бессмертную
Для Мессии творит.

1976

ШЛИ В ДЕКАБРЕ СОЛДАТЫ

Квартальный из калмыков,
прижавшийся к решетке,
Оторопел,
услышав солдатский топот четкий.

Взглянув на желтой краской
сверкающую кожу,
Солдат какой-то плюнул скуластенькому
в рожу.

За ним другие стали
калмыка бить прикладом,
И тот упал
с застывшим оторопелым взглядом.

Солдаты шли на горе и на кровопролитье,
Но их развеселило забавное событие.

Сердились, что зеваки на улице торчали,
Но шли и Константину „ура” они кричали!

Внушая страх и трепет державному семейству,
Шли в декабре солдаты
мостом к Адмиралтейству.

1976

В СТАРОМ КВАРТАЛЕ

Перенесем ворота,
Угрозу отведем,
Чтоб сбилась смерть со счета
И не нашла наш дом...

Бухарская еврейка выходит из ворот.
Сверкает тюбетейка,
Как южный небосвод.

Планеты загорелись
Над полночью волос.
Свежа, нарядна прелесть
И трогает до слез.

В глазах лукавых томность,
Искательство, мольба,
И тайная бездомность,
И странная судьба —

Ждать, ждать: когда же виза?
И покидая двор,
На языке Хафиза
Молоть девичий вздор.

1976

КРИК ЧАЕК

Семейство разьевшихся чаек
Шумит на морском берегу.
От выкриков тех попрошаек
Прийти я в себя не могу.

Мне вспомнилось: мы хоронили
Жену сослуживца. Когда
Ее закопали в могиле,
Был вечер, а мы и беда

Вступили в автобус последний,
И тут, как проказа, возник
Из воплей, проклятий, и сплетни,
И ругани смешанный крик.

То стоя кладбищенских нищих,
Хмельных стариков и старух,
Кривых, одноногих, изгнанных,
Блудила и думала вслух...
Земля, человечья стоянка,
Открыла ты нам, какова
Изгаженной жизни изнанка,
Где Слово сменили слова.

Во тьме остановки конечной
Уже различаем, какой
Вращается двигатель вечный,
А движет им вечный покой.

1976

х х х

Когда в слова я буквы складывал
И смыслу помогал родиться,
Уже я смутно предугадывал,
Как мной судьба распорядится,

Как я не дорасту до форточки,
А тело мне сожмут поводья,

Как сохраню до смерти черточки
Пугливого простонародья.

Век сумасшедший мне сопутствовал,
Подняв свирепое дреколье,
И в детстве я уже предчувствовал
Свое мятежное безволие.

Но жизнь моя была таинственна,
И жил я, странно понимая,
Что в мире существует истина
Зиждительная, неземная,

И если приходил в отчаянье
От всепобедного развала,
Я радость находил в раскаянье,
И силу слабость мне давала.

1976

ОДЕРЖИМЫЙ

Одичавший, нагой, с исцарапанной кожей,
С головой, на плакучую иву похожей,

Он со страхом смотрел на людей, с недоверьем,
И пустился в пустыню к задумчивым зверям.

Не искал врачевателя иль ясновидца, —
Просто рядом с ним двигалась медленно львица,

Он беседовал тихо с детенышом лани
О неистовстве некогда живших желаний.

Если б та, кто была его сном и тоскою,
Кто его разлучила с породой людскою,

Появилась, в пустыню из стойбища выйдя,
Он прошел бы, ее не узнав, не увидя:

Перестала быть жизнью, душой и любимой,
Стала притчей, преданием, мыслью незримой,

И слилась эта мысль с новым светом святыни,
С облаками, песками, зверями пустыни.

1977

КОНЬ

Наросло на перьях мясо,
Меньше скрытого тепла,
Изменилась у Пегаса
Геометрия крыла.

Но пышна, как прежде, грива,
И остер, как прежде, взгляд,
И четыре крупных взрыва
Под копытами дымят.

Он летит в пространстве жгучем,
В бездну сбросив седока,
И разорванным созвучьем
Повисают облака.

1977

х х х

Доболеть, одолеть странный страх,
Догореть, докурить сигарету,
Истребить себя, — так второпях
В автомат опускают монету.

Но когда и внутри и вокруг
Обостряется жизни напрасность,
У нее появляется вдруг
Полудетская мрачная страстность.

А потом начинается свет
Где-то исподволь, где-то подспудно,
Мысль прочнеет, как плоть, как предмет,
И волнуется чисто и чудно.

1977

ВОРОН

Что ищет нелюдим,
Кочевник темно-синий
В песках полупустыни,
Где в юрте мы сидим?

Узнал я клюв отвислый
И зоркий, твердый глаз,
Который, полон смысла,
Уставился на нас.

А кто он? Только птица,
Столетний старожил.
„Все в падаль превратится”, —
Он искренно решил.

Его смущает ропот
Песков, существ, времен,
Но у него есть опыт,
И нас торопит он.

1977

НА ТОКУ

На току — молотильщик у горной реки,
Остывает от зноя долина.
„Молотите, быки, молотите, быки!” —
Ударяя, свистит хворостина.

И молотят снопы два усталых быка,
Равнодушно шагая по кругу,
Пролетают года и проходят века,
Свой напев доверяя друг другу.

„Молотите, быки, молотите, быки!” —
Так мой праотец пел возле Нила.
Время старые царства втоптало в пески,
Только этот напев сохранило.

Изменилась одежда и говор толпы, —
Не меняется время-могильщик,
И все те же быки те же топчут снопы,
И поет на току молотильщик.

1977

ПУТЬ К ХРАМУ

Среди пути сухого
К пристанищу богов
Задумалась корова
В тени своих рогов.

Она смотрела грустно
На купол вдалеке
И туловище грузно
Покоила в песке.

Далекий дым кадилъниц,
И отсвет рыжины,
И томность глаз-чернильниц
Вдруг стали мне нужны.

По морю-океану
Вернусь я в город свой,
Когда я богом стану
С коровьей головой.

Там, где железный скрежет,
Где жар и блеск огня,
Я знаю, не прирежут
И не ссжгут меня.

Тогда-то я в коровник
Вступлю, посол небес,
Верней сказать, толковник
Таинственных чудес.

Шепну я втихомолку,
Что мы — в одной семье,
Что я наперсник волку
И духовник змее.

1977

ПУШКИНСКИЕ МЕСТА

В Бугрове пьют. Вчера больной и пьяный
Скончался здешний плотник и столяр.
Дополз домой с Михайловской поляны
И умер. А ведь был еще не стар.

Июньской светлой ночью неизвестный
Был сбит пикапом у монастыря.
Есть куртка, брюки, нет лица. „Не местный”, —
Сказал прохожий, знаменье творя.

Он здесь чужой. И лишь одни дубравы
Хранят его довременный покой
И повторяют соловьи октавы,
Записанные быстрою рукой.

Святые Горы. 6 июня 1978

ГОЛОС

Отсюда смотрю на тебя: ты несчастен.
Немолод, не очень здоров, и тетрадь
В столе остывает; не можешь понять,
Что горькому счастью бесстрашно причастен;

Что та, кто в ином воплощенье звездой
Мерцала, — тебя полюбила; что строки,
Как в склеп, заключенные в ящик глубокий,
Еще обладают живой теплотой;

Что глина другая нашлась для сосуда,
Но дух свою прежнюю персть не забыл;
Тобою в прошедшие годы я был;
Тебя, молодого, я вижу отсюда.

1978

х х х

Предвидеть не хочу,
Прошедшего не правлю,
Но жду, когда лучу
Я кровь свою подставлю.

Тех, кто начнет опять,
Я перестал бояться,
Но трудно засыпать
И скучно просыпаться.

1978

х х х

Я сижу на ступеньках
Деревянного дома,
Между мною и смертью —
Пустячок, идиома.

Пустячок, идиома —
То ли тень водоема,
То ли давняя дрема,
То ли память погрома.
В этом странном понятии
Сочетаются травы,
И летающей браться
Золотые октавы,

Белый камень безликий
Трансформаторной будки
Там, где кровь земляники
Потемнела за сутки,

И беды с тишиною
Шепоток за стеною,
Между смертью и мною,
Между смертью и мною.

1978

ГРУША ВСПОМИНАЕТ

Нынче прачка, вчера судомойка,
Говорит шепоточком, но бойко,
И слова не срываются с губ, —
Закрепляются прочно и стойко,
Прикрывая единственный зуб.

„А немецкий-то полк отступает,
Да еще пред собою толкает
Он детишек, старух, стариков,
А деревня сияет, сияет,
Вся горит посредине снегов.

Получается так: погостили.
Гнали верст двадцать пять — отпустили.
Разбрелись кто куда стар и мал.
А повешенные поостыли,
Их с веревок никто не снимал.”

1978

ГАНЕША

В роговых очках и в красной тоге,
Жрец пред алтарем огонь зажег

И повел рассказ, и босоногий
Слушает паломников кружок:

„Он сказал: „Любить мы не принудим,
Но любви посеем семена, ” —
И учеников отправил к людям,
А к животным — доброго слона.

Слон увидел тигра у запруды,
Хрипло раздирающего лань,
И открыл он тигру сердце Будды:
„Пробудись, — промолвил, — и воспрянь.”

Проходя по странам терпеливо,
Слон поднялся к скалам снеговым,
Где, с женою на коленях, Шива
Наблюдал за мальчиком своим.

У того была забава злая:
Голубей хватал он и душил.
Задохались птицы, округляя
Красный глаз, в котором ужас жил.

Грозный бог, разгневан душегубцем,
В смерть преобратившим озорство,
Размахнулся в ярости трезубцем,
Обезглавил сына своего.

„Что ты сделал с сыном, с нашим сыном!” —
Затряслась, заплакала жена.
Шива взглядом посмотрел повинным
И увидел доброго слона.

И слона он тоже обезглавил
Тем ножом, что молнии быстрей,
К туловищу сына он приставил
Голову апостола зверей.

Так возник Ганеша, светоч новый,
Пламенем насытивший слова,
Сей двуногий и слогоголовый,
С разумом и болью божества.

„Сонное, мгновенное виденье
Все, что с вами на земле творим.
Хватит спать! Пускай наступит бденье!
Пробудитесь!” — говорит живым.

Говорит он, предан доброй вере,
Пробуждая спящих ото сна,
Ибо люди верят, как и звери:
И страшна любовь, и непрочна.”

1978

х х х

Надеваю плащ-болонью,
Выхожу. Слегка дождит.
Осень пробует гармонию,
Самолетами гудит.

За сосновой чередой
Светит мне такая даль,
Будто грязною водою
Кто-то вдруг плеснул в хрусталь.

Превратившись в тень ограды,
В листья, птиц и всякий сор,
Здесь ведут со мной монады
Бессловесный разговор.

С ними нежно сочетавшись,
Связи грубые рубя,
Я, самым собой оставшись,
Удаляюсь от себя.

1978

МОРСКАЯ ПЕНА

Морская пена — суффиксы, предлоги
Того утраченного языка,
Что был распространен, когда века,
Теснясь в своей космической берлоге,
Еще готовились существовать,
А мы и не пытаемся понять,
Что значат эти суффиксы, предлоги,
Когда на берег падают пологий
И глухнут в гальке дольного литья,
Но вслушайтесь: нас убеждает море,
Что даже человеческое горе
Есть праздник жизни, признак бытия.

Ай-Даниль. 1978

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВОЛЯ

ПРАЗДНИК.....	7
Кто дружбу, как стихи, бросал.....	7
АПРЕЛЬ.....	8
ОТКРЫТКА.....	11
СЧАСТЬЕ.....	12
ОДНА ЖИЗНЬ.....	13
В неверии, неволе, нелюбви.....	14
ПЕРЕД МАЕМ.....	14
В ЭКИПАЖЕ.....	15
РЕВОЛЮЦИЯ.....	16
В ТРИДЦАТЬ ЛЕТ.....	16
ИЗ ВОСТОЧНОЙ РУКОПИСИ.....	18
НА СВЕЖЕМ КОРЧЕВЬЕ.....	20
ПРИМЕТЫ.....	20
БЕЖЕНЕЦ.....	21
СТРАННИКИ.....	22
БЕСЕДА.....	23
ПРУД.....	25
ПРАВЫЙ БЕРЕГ.....	25
В БИНОКЛЕ.....	27
Что самое страшное на войне.....	28
МЕЧТАНИЯ.....	29
МЕТАМОРФОЗЫ.....	30
СТАНСЫ.....	32
ИМЕНА.....	33
РУИНЫ.....	36
ПАВЛИНКА.....	37
ВЕЧЕР.....	37
ВОЛЯ.....	38
ДВА ЗЕРКАЛА.....	40
НА ПЛОТУ.....	41
ЧЕРНЫЙ РЫНОК.....	42
СОЛОВЬИ.....	44

ДОГОВОР.....	45
--------------	----

ПРАВО НА ГОРЕ

ЗНАКОМЫЕ МЕСТА.....	47
КВАРТИРА.....	48
Ты хочешь кров уединенный.....	50
ТОЧИЛЬНЫЙ КАМЕНЬ.....	50
У ДОРОГИ	52
ТОТ ЖЕ ПРИЗНАК.....	53
МУЗЫКА ЗЕМЛИ.....	53
НА ТЯНЬ-ШАНЕ.....	54
ВЕЧЕРА НА ЧЕГЕМЕ.....	55
ЯЗЫК ЭЛЬБРУСА.....	56
САПОЖНИК.....	58
РАННЕЕ ЛЕТО.....	60
СТЕПНАЯ ПРИТЧА.....	61
ПЕРЕСЕЛЕНЕЦ.....	64
У ШЛАГБАУМА.....	65
КАВКАЗ ПОДО МНОЮ.....	67
СОСНЫ	69
В ШАТРЕ.....	70
СНОВА В ОДЕССЕ.....	72
У РАЗВАЛИН ЛИВОНСКОГО ЗАМКА.....	73
ВОРОБЫШЕК.....	75
ЗАКАТ.....	77
В НОЧНОМ РОСТОВЕ.....	78
ДЕКАДА НАЦИОНАЛЬНОГО ИСКУССТВА.....	79
ПОДРАЖАНИЕ КОРАНУ.....	80
ПЕПЕЛ.....	80
БОГОРОДИЦА.....	81
ПРИЗРАКИ.....	83
МОЛОДАЯ МАТЬ.....	84
ЗВЕЗДА.....	86
ЮЖНЫЙ ПОЛДЕНЬ.....	87
ГРЕК.....	88
ПОХОРОНЫ.....	90

УЛИЦА ПЕЧАЛИ.....	91
СОЛДАТ РЕВОЛЮЦИИ.....	92
СОЛОВЕЙ ПОЕТ.....	93
ОДНА МОЯ ЗНАКОМАЯ.....	93
АКУЛИНА ИВАНОВНА.....	95
В БОЛЬШОМ КОЛЬЦЕ.....	95
ДОБРО.....	96
ПО ВЕСЕННИМ ПОЛЯМ.....	97
КОМБИНАТ ГЛУХОНЕМЫХ.....	98

ВОЖДЬ И ПЛЕМЯ

НЕСТОР И САРИЯ.....	99
ТЕХНИК-ИНТЕНДАНТ.....	117
БЕСЕДА НА ВЕРШИНЕ СЧАСТЬЯ.....	154
ТБИЛИСИ В АПРЕЛЕ 1956 ГОДА.....	168
СОЛИКАМСК В АВГУСТЕ 1962 ГОДА.....	177
ЛИТЕРАТУРНОЕ ВОСПОМИНАНИЕ.....	182

ЧЕЛОВЕК В ТОЛПЕ

У СОБАК.....	197
ВАШ СПУТНИК.....	198
В РОЩЕ.....	199
ПОСЛЕ СМЕРТИ.....	200
В ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ.....	201
РИСУНОК В ВАГОНЕ.....	202
РИСУНОК У ГРЕЧЕСКОЙ ПЛОЩАДИ.....	203
МАТЕРИ-РОДИНЕ.....	205
ОЧЕВИДЕЦ.....	205
КОЛЮЧЕЕ КРУЖЕВО.....	205
ГОРОД-СПУТНИК.....	206
ТАЙГА.....	208
ОБЕЗЬЯННИК.....	210
ПАЛАЧ.....	211
ДОРОГА.....	212
СУЯЗОВ.....	213
НА РЕАКТИВНОМ САМОЛЕТЕ.....	214

ЧЕЛОВЕК В ТОЛПЕ.....	215
ПЕРВЫЙ МОРОЗ.....	215
НОЧНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ.....	216
НА ДАЧАХ.....	216
СПЕКУЛЯНТКА.....	217
ЧАСТУШКА.....	218
ПУСТОТА.....	219
ЛЕЗГИНКА.....	220
СТАРСТЬ.....	221
ДАО.....	222
ТЕНИ.....	222
РОЖДЕСТВО.....	223
МОЛЧАЩИЕ.....	224
ВИЛЬНЮССКОЕ ПОДВОРЬЕ.....	225
СЕНО.....	226
ПАССАЖИР ПАРОХОДА.....	226
ОСЕНЬЮ В РОДНОМ ГОРОДЕ.....	227
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ПРИЕМ ПЕРЕД КОНЦЕРТОМ.....	228
ШЕЛКОВИЦА.....	228
У МОРЯ.....	230
ЕРЕВАНСКАЯ РОЗА.....	231
ПО ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫМ БИЛЕТАМ.....	231
ДРОЗД.....	232
ПРИТЧА ОБ ОСЛЕ.....	233
ВОЖАТЫЙ КАРАВАНА.....	235
ПОЭЗИЯ.....	236

ВЕЧНЫЙ ДЕНЬ

ДВЕ ЕЛИ.....	237
У МАГАЗИНА.....	238
ПОДРАЖАНИЕ МИЛЬТОНУ.....	238
УРОЧИЩЕ.....	239
ВЕЛЬЗЕВУЛ.....	240
МЕСТЕЧКО.....	240
ИСТОКИ.....	241

МОИСЕЙ.....	242
СОВРЕМЕННОСТЬ.....	243
ПАМЯТНОЕ МЕСТО.....	243
ЗОЛА.....	244
ОТСТРОЕННЫЙ ГОРОД.....	244
РАЗМЫШЛЕНИЯ В САРАЕВЕ.....	245
ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ.....	247
КИПАРИС.....	247
Как ты много курила.....	248
УЗНАВАНИЕ.....	249
ЮЖНЫЕ ЦЕРКВИ.....	250
ИЗ РОМАНА МОЕГО ДЕТСТВА.....	251
УЧИТЕЛЬ.....	251
СУД.....	252
В НАЧАЛЕ ПОРЫ.....	253
ОДЕССКАЯ СИНАГОГА.....	254
ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ МИЦРАИМА.....	255
Листья бука, побитые градом.....	256
МОНАСТЫРСКИЕ СТЕНЫ.....	256
ВОСКРЕСНОЕ УТРО В ЛЕСУ.....	257
ПРОСЕКА.....	258
ПОДОБИЕ.....	258
То не ты ли России лапотной.....	259
СЕЗАНН.....	259
ПИСАТЕЛЬ.....	261
СПУСК В ГАВАНЬ.....	261
ПАМЯТЬ.....	263

КОЧЕВОЙ ОГОНЬ

КОЧЕВОЙ ОГОНЬ.....	265
КОМИССАР.....	266
ЗАВОЕВАТЕЛЬ.....	267
ОТПУСК ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ.....	268
ПОСРЕДИНЕ ЗАПРЕТКИ.....	269
В ПУСТЫНЕ.....	270

ФАНТАСТИКА.....	270
РУССКАЯ ПОЭЗИЯ.....	275
Когда болезненной душой устану.....	275
ИЗ ПЕТРАРКИ.....	276
Когда, отбредя, сей вертеп я оставлю глобальный.....	277
ВРЕМЯ.....	277
БОЛЬНАЯ ЗВЕЗДА.....	278
ИЗ ТЕТРАДИ.....	279
НА РЕМЕСЛЕННОЙ УЛИЦЕ.....	279
ШЛИ В ДЕКАБРЕ СОЛДАТЫ.....	281
В СТАРОМ КВАРТАЛЕ.....	282
КРИК ЧАЕК.....	282
Когда в слова я буквы складывал.....	283
ОДЕРЖИМЫЙ.....	284
КОНЬ.....	285
Доболеть, одолеть странный страх.....	286
ВОРОН.....	286
НА ТОКУ.....	287
ПУТЬ К ХРАМУ.....	288
ПУШКИНСКИЕ МЕСТА.....	289
ГОЛОС.....	289
Предвидеть не хочу.....	290
Я сижу на ступеньках.....	290
ГРУША ВСПОМИНАЕТ.....	291
ГАНЕША.....	291
Надеваю плащ-болонью.....	293
МОРСКАЯ ПЕНА.....	294

ИЗДАТЕЛЬСТВО „АРДИС“

Михаил Булгаков, ДЬЯВОЛИАДА
Юрий Олеша, ЗАВИСТЬ
Борис Пастернак, ВОЗДУШНЫЕ ПУТИ
Евгений Замятин, НЕЧЕСТИВЫЕ РАССКАЗЫ
Гайто Газданов, ВЕЧЕР У КЛЭР
Корней Чуковский, ПОЭТ И ПАЛАЧ
Лев Шестов, ТУРГЕНЕВ
Лев Шестов, НАЧАЛА И КОНЦЫ
Михаил Кузмин, КРЫЛЬЯ
Зинаида Гиппиус, ПИСЬМА К БЕРБЕРОВОЙ
И ХОДАСЕВИЧУ
София Парнок, СОБРАНИЕ СТИХОТВОРЕНИЙ
Л. Е. Белозерская-Булгакова, О, МЕД ВОСПОМИНАНИЙ
М. ЦВЕТАЕВА: ИКОНОГРАФИЧЕСКАЯ БИОГРАФИЯ
М. Цветаева, ВЕРСТЫ
М. Цветаева, ПРОЗА
В. Хлебников, ЗАНГЕЗИ
А. Ахматова, АННО ДОМИНИ
А. Ахматова, БЕЛАЯ СТАЯ
О. Мандельштам, КАМЕНЬ
О. Мандельштам, ТРИСТИЯ
К. Вагинов, КОНСТАНТИН ВАГИНОВ
К. Вагинов, ПУТЕШЕСТВИЕ В ХАОС
В. Маяковский, ПРО ЭТО
П. Чаадаев, ФИЛОСОФИЧЕСКИЕ ПИСЬМА
Л. Копелев, УТОЛИ МОИ ПЕЧАЛИ
Л. Копелев, И СОТВОРИЛ СЕБЕ КУМИРА
Н. Горбаневская, ПОБЕРЕЖЬЕ
В. Набоков, ПРИГЛАШЕНИЕ НА КАЗНЬ
В. Набоков, ЗАЩИТА ЛУЖИНА
В. Набоков, КОРОЛЬ, ДАМА, ВАЛЕТ

ИЗДАТЕЛЬСТВО „АРДИС“

Владимир Набоков, ДАР
Владимир Набоков, ПОЛИТА
Владимир Набоков, БЛЕДНЫЙ ОГОНЬ
Саша Соколов, ШКОЛА ДЛЯ ДУРАКОВ
Саша Соколов, МЕЖДУ СОБАКОЙ И ВОЛКОМ
Андрей Битов, ПУШКИНСКИЙ ДОМ
Василий Аксенов, ОЖОГ
Василий Аксенов, ЗОЛОТАЯ НАША ЖЕЛЕЗКА
Фазиль Искандер, САНДРО ИЗ ЧЕГЕМА
Иосиф Бродский, ЧАСТЬ РЕЧИ
Иосиф Бродский, КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ

Осип Мандельштам, ВОРОНЕЖСКИЕ ТЕТРАДИ
Осип Мандельштам, ЕГИПЕТСКАЯ МАРКА
НЕИЗДАННЫЙ БУЛГАКОВ
И. Бабель, ЗАБЫТЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Андрей Платонов, КОТЛОВАН
Евгений Замятин, ОСТРОВИТАНЕ
Анна Ахматова, ПОЭМА БЕЗ ГЕРОЯ
Николай Гумилев, ОГНЕННЫЙ СТОЛП
Владислав Ходасевич, ТЯЖЕЛАЯ ЛИРА
Федор Сологуб, МЕЛКИЙ БЕС
Андрей Белый, СЕРЕБРЯНЫЙ ГОЛУБЬ
НЕИЗДАННЫЙ ЗОЩЕНКО
Михаил Кузмин, ФОРЕЛЬ РАЗБИВАЕТ ЛЕД
Николай Эрдман, САМОУБИЙЦА
Николай Евреинов, САМОЕ ГЛАВНОЕ
Эдуард Лимонов, РУССКОЕ. Стихи.
Алексей Цветков, СБОРНИК ПЬЕС ДЛЯ ЖИЗНИ СОЛО
Владимир Уфлянд, ТЕКСТЫ 1955-77.
Владимир Войнович, ИВАНЬКИАДА
Лев Копелев, ХРАНИТЬ ВЕЧНО
Инна Варламова, МНИМАЯ ЖИЗНЬ
МЕТРОПОЛЬ: Литературный альманах
ГЛАГОЛ: Литературный альманах
Игорь Ефимов, КАК ОДНА ПЛОТЬ
Евгений Попов, ВЕСЕЛИЕ РУСИ

АХМАТОВА О СЕМЕНЕ ЛИПКИНЕ

„Анна Андреевна называла имя Липкина среди наиболее значительных наших поэтов каждый раз, когда речь заходила о советской русской поэзии.“

Л.ЧУКОВСКАЯ, ЗАПИСКИ ОБ АННЕ АХМАТОВОЙ

„В течение нескольких десятилетий имя и личность Семена Липкина были окружены таинственностью. На поверхности советской литературы он был известен как переводчик восточной поэзии, профессионал высшей марки, человек энциклопедических знаний. Внутри, однако, ходили слухи, что он не только переводчик, но удивительный оригинальный поэт. Лишь немногие близкие друзья знали его стихи по устным чтениям. Почему же мир поэзии Семена Липкина не открылся для читающей России обычным естественным путем? Потому лишь, что дышат в его стихах Бог и Правда, а это дыхание страшит аппаратчиков.“

ВАСИЛИЙ АКСЕНОВ

Семен Израилевич ЛИПКИН (р. 1911, Одесса) приобрел широкую известность как поэт-переводчик восточной поэзии. Он перевел поэмы Навои, Фирдоуси, Лутфи, киргизский эпос „Манас“, кабардинский эпос „Нарты“ и множество других произведений, союзные и автономные республики СССР награждали его почетными званиями. Сборники его собственных стихов начали появляться лишь в последнее время („Очевидец“, „Вечный день“, „Тетрадь бытия“). В 1979 году он, вместе со своей женой, поэтессой Инной ЛИСНЯНСКОЙ, принял участие в альманахе „МЕТРОПОЛЬ“, напечатав там стихи, не пропускавшие цензурой, за что был подвергнут преследованиям. В знак протеста против репрессий, обрушенных литературными властями на двух других участников альманаха, Липкин и Лиснянская вышли из Союза писателей.

Предлагаемый читателю сборник включает в себя стихи и поэмы, написанные Семеном Липкиным в разные периоды его жизни, охватывая сорокалетний период творчества (1936—1978), и является первым изданием, по настоящему знакомящим читающую публику с большим и несправедливо замалчивавшимся поэтом.

Сборник подготовлен к печати ИОСИФОМ БРОДСКИМ.